

СТАНИСЛАВ ЛАКОБА

«КРЫЛИЛИСЬ ДНИ В СУХУМ-КАЛЕ...»

Историко-культурные очерки

Сухум
Абгосиздат
2023

УДК 93/94
ББК 63.3(5Абх)
Л 19

Лакоба, С. З.

Л 19 «Крылились дни в Сухум-Кале...» : историко-культурные очерки / Станислав Лакоба. – Сухум : Абгосиздат, 2023. – 256 с.

Эта книга Станислава Лакоба, изданная в 1988 году, уже через несколько лет стала библиографической редкостью. Автору удалось в яркой художественной форме передать творческую атмосферу Сухума 1920-х годов, когда тон в театральной и поэтической жизни задавали выдающиеся представители новой волны России – Николай Евреинов, Николай Фореггер, Василий Каменский, Александр Чачба-Шервашидзе, Виктор Стражев, Владимир Шершеневич, Наталья Бутковская и другие.

Особую ценность книге придают найденные автором публикации и архивные документы, в которых Андрей Белый, Осип Мандельштам, Исаак Бабель, Мариетта Шагинян писали об Абхазии.

Сухум предстает перед читателем как живой, полный энергии город, открытый художественным исканиям, морским ветрам и вечности.

УДК 93/94
ББК 63.3(5Абх)

© Лакоба, С. З., 2023
© Абгосиздат, 2023

Описание края художниками слова играет громадную, доселе не оцененную роль, художники должны еще стать краеведами, этнографами и отчасти географами.

Андрей Белый. Ветер с Кавказа

Абхазы – один из немногих сохранившихся архаических обломков, но с немалой инородной этнической примесью той древней расы, которая в эпоху праисторическую заселяла Средиземноморье, Кавказ и уходила далеко на Восток.

Виктор Стражев. Абхазия



Наступает время, и человек бежит к морю. К пустынному берегу. Чтобы уйти в природу. Чтобы прийти к себе.

Художник – море – свобода.

Это одна из тем книги.

О море и о себе очень чутко сказал Всеволод Рождественский.

«Я очень хочу моря, – писал поэт из Питера в 1925 году своему другу. – Ты прав – море всегда говорит на языке Гомера. Мне давно уже не нравятся наши потуги на эпос. Они слишком декларативны. Истинный эпос прост, как дубовая чаша, пастушеское вино и стертые сандалии героя. Истинный эпос никогда не знал своего имени. И, мне кажется, у моря я впервые за эти годы нашел бы верную меру времени и человеческих дел».

Это ощущение было созвучно исканиям многих истинных художников России в кровоточащее время Гражданской войны и после.

Нет, они не искали ответа. Они учились у волн внимательно слушать вопросы.

Вообще в книге несколько ключевых тем помимо моря.

Главная – язык, традиции, история, фольклор и будущее абхазского народа с точки зрения представителей русской авангардной культуры.

Другая – период «сухумского ренессанса» (1917–1923), новая философия, новый стиль жизни, ее театрализация.

Следующая — жизнь, творческая работа, путешествия по Абхазии 20–30-х годов писателей и режиссеров.

* * *

В очерках впервые публикуются ранее неизвестные и малоизвестные произведения, воспоминания, дневники, письма поэтов, писателей, режиссеров и художников.

Основные документы выявлены в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (Москва), Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), Центральном государственном архиве Абхазской АССР, Государственном архиве Пермской области, а также в семейных архивах В. Шишкова, А. Касторской, Е. Захаровой-Рафальской, А. Томары (Москва), Ю. Киссен-Уридия (Очамчира).

В книге освещается один из пластов интересной проблемы абхазо-русских культурных взаимосвязей, которой посвящен ряд работ историков, филологов, искусствоведов. Особо следует выделить исследова-

ния Б. Аджинджал, Х. Бгажба, Г. Дзидзария, И. Квици-
ния, В. Пачулиа, Р. Шервашидзе-Чачба.

* * *

*Автор выражает глубокую признательность за
ценные сведения и советы – Ю. Воронову, И. Гельбаку,
Е. Дейч, Б. Джонуа, М. Ладария, А. Пирожковой-Ба-
бель, И. Семенко, И. Стражевой, С. Таркил, М. Хахми-
гери, Д. Чачхалиа, В. Чирикба, В. Читанаа и другим.*

I

«ДРЕВНИХ РАС ЖИВОЙ ОСКОЛОК...»

1. Реликтовый цветок языка

Реки – языки Земли.

Небо – их истоки.

Земля хранит в себе сумрачные тайны. Нужно всего лишь быть таким, как она да выси, чтобы услышать ее память.

Услышать рост травы. Бег муравьи по мху. Слышать полет листа.

Белый слышал.

Андрей Белый был чуток к миру: «В образах, данных природой, слышатся художнику зовы Вечного».

В 1929 году через Сухум, Гудауту, Гагру и Адлер он проехал в Красную Поляну.

В горы исторической Абхазии.

Только название реки «Мзымта» напоминало, что это так.

Из Адлера Белому открылся вид «на цепь снежных вершин».

В пределы царства гор он въезжал на грани весны и лета.

Белый делился своими чувствами: «...Мощь лесов, стволов – неописуемы, и оттуда 56 километров вверх по неописуемой дороге через Мзымтское ущелье, более величественное, чем Дарьяльское, в Красную Поляну с уютно-грандиозным ландшафтом».

Мзымта звучала у самых глаз неба.

Об этой поездке жена поэта, Клавдия Николаевна, вспоминала: «Белый долго сидел над белой от пены горной речкой Мзымтой, в той же Красной Поляне. Он молчал, уйдя в свои думы. По выражению глаз и лица было заметно, что он не смотрит, а слушает. И слушает все более напряженно, с волнением, словно хочет поймать какие-то поразившие его звуки.

Вдруг он резко поднялся, подошел ближе ко мне и, стараясь перекричать оглушительный грохот реки, стал порывисто и горячо говорить о языке будущего. Он говорил, что явственно слышит ритм и тональность этой будущей речи, совсем не похожей на нашу. Слышит до ощущения на языке, до особых движений гортани, до тонкой вибрации голосовых связок. Но не умеет об этом сказать...»

Белый слушал реку – «речь будущего».

Слушал звучную пульсацию Мзымты.

«Мало видеть: надо – уметь видеть, – говорил он. – ...Я многое разглядел в природе».

Белый обладал даром тайновидца, обостренной, до ясновидения, проницательностью и чувственностью.

Он познавал философское наследие Востока, идеи Владимира Соловьева, антропософское учение Рудольфа Штейнера. С 1912 и до конца 1916 года Белый жил в Мюнхене, Штутгарте, Берлине, Дорнахе, Христиании, принимал активное участие в постройке «Гётеанума» (Высшая школа духовных наук) близ Базеля.

Особое внимание поэта привлекает фонетика.

В этот период он начинает работать над поэмой о звуке «Глоссолалия», изданной в 1922 году. Изданной через пять лет после ее написания.

Белый говорит о звуке-жесте «на поверхности жизни сознания», о жесте утраченного содержания, о мимике звуков, о глубоких тайнах, лежащих в языке, об эвритмии (равномерность ритма), в которой заложено «знание шифров природы; природа осела землею из звука; на эвритмистике червонится звук...»

Все это было до звучной Мзымты.

О языке будущего, услышанном на Красной Поляне в 1929 году, Клавдия Николаевна продолжала рассказывать со слов Белого:

«...Голосовой аппарат наш к этому не приспособлен. Он еще не готов. Гортань человека должна измениться. Тогда только, в будущем, не измеримом годами, прозвучит и вовне эта новая речь, уже теперь так

поразившая его внутренний слух. В этой речи сольются в живом неожиданном синтезе голоса и звучанья природы; в словах этой речи будет сила, которой не знает теперь человек. Пенье птиц, рокот моря, плеск ручья, крик животных, шелест трав, шумы лесные, порывы ветров, громовые раскаты объединятся и свяжутся в непредставимую ныне ритмично певучую ткань. Слово будущего будет организовано по законам неведомой ныне фонетики».

Что подсказала, что доверила Мзымта Белому: язык будущего или язык прошлого?..

Почему именно здесь, на Красной Поляне, он услышал так поразившую его речь?

Может быть, потому, что именно здесь, в земле горского абхазского племени ахчипсоу, пролегла в прошлом одна из самых удивительных и прекрасных фонетических границ языков мира?..

Граница с убыхами – независимым, но связующим звеном абхазо-адыгских народов.

Здесь, в горах, «с уютно-грандиозным ландшафтом», дышала близким небом Страна Звуков абхазо-убыхской речи!

Страна с самой богатой на Земле фонетической системой 80 согласных...

Дышала до окончания Кавказской войны. Дышала до ее завершения на Красной Поляне 21 мая 1864 года.

И тогда непокоренные ахчипсоу и соседние убыхи покинули родные места.

Они дрались до последнего вскрика, до последнего дыхания своих женщин, детей.

До последнего дыхания коней!

Матери с детьми бросались в родные пропасти.

Горы обезлюдели.

Обеззвучились...

Но еще до завершения трагических событий войны, в 1862 году, русский генерал и одновременно составитель абхазской грамматики П. К. Услар так охарактеризовал этот язык:

«Не только европейцы, но даже кавказские туземцы считают абхазское произношение наитруднейшим и наименее доступным для неабхазца. Странное впечатление производит этот язык на того, кто слышит его впервые!.. Основа абхазского произношения состоит из сплетения самых разнообразных звуков шипящих, свистящих, жужжащих, но разнородность их ускользает от непривычного слуха».

Может быть, Белый услышал из прошлого «речь будущего»? Услышал ее на бывшей фонетической границе абхазо-убыхского мира?

Он будто преодолел «звуковой барьер» современности и заглянул в прошлое, в котором отразилось будущее.

Может быть, когда народ погибает или покидает родную землю, только тогда природа начинает звучать на его языке.

Горы Красной Поляны сохранили язык своего народа и пропели поэту языком Мзымты звуки, так напоминающие абхазскую речь.

Белый почувствовал это прикосновение.

Возможно, он почувствовал его и в тот миг, когда встретил высоко в альпийских лугах старого пастуха-абхаза...

Белый проник в тайную память природы. Побывал в ином измерении, прослышал, казалось, наглухо закрытые «шифры природы».

Память природы в горах Красной Поляны сберегла, как ребенка, самое ценное своего народа.

Она впечатала в камень реликтовый цветок его языка. И Белый набрел на эту звучную окаменелость абхазской речи в сумрачном ущелье Мзымты.

Прошлое – оказалось будущим.

Клавдия Николаевна вспоминала:

«Белый уверял, что лучшие мысли его идут “от природы” и что каждая новая местность для него “кладезь новых богатств”. Подтверждением этого служат его дневники. Я же могу привести лишь несколько случаев, врезанных в памяти».

И вслед за этим рассказала об открытии Белым на Мзымте «будущей речи»...

Звучная Мзымта.

Она становилась языком и гортанью Белого. Добавляла синего цвета глазам. Изгибалась во рту скользящей форелью.

Мзымта.

Будто горящая небом женщина, разбросанная среди горных снегов.

Разорванная ущельем. Буйным лесом.

Звучная Мзымта.

Белый чувствовал, ощущал прикосновение ее родникового языка к нёбу.

Река впадала в него прямо с древних небес, вливалась, как кровь, неведомой речью и рассыпалась по венам кислородными шариками звуков.

□

Описание Белым «будущей речи» человечества поразительно перекликается с высказыванием известного историка и этнографа К. Д. Мачавариани.

«Звуки абхазского языка так резко отличаются от звуков индоевропейской семьи языков, – писал он в 1913 году, – что можно изучить этот язык прекрасно,

вполне овладеть духом и свойством его, но все-таки произношение его так и “останется варварским”. Для объяснения звуков приходится создавать совершенно новые правила фонетики. Одними известными органами (губы, зубы, гортань и др.) нельзя здесь ограничиться. При произношении многих звуков абхазского языка органы произношения принимают совершенно иное положение, что не замечается в других известных нам языках...

Язык абхазский гибок и звучен; он одинаково передает не только торжественный тон возвышенного пафоса, но и ласкает слух самыми нежными выражениями. Как грозные звуки природы, так и мелодия тихого дуновения ветерка, журчание ручейка, горе и радость, гнев и ласки, глубина страсти и нежность находят в этом языке свое полное выражение. В нем выражаются, точно в зеркале, неуловимые движения души, туманные впечатления окружающего нас мира, ускользающие, обыкновенно, от слова, знака и красок...»

С характеристикой речи, «открытой» Андреем Белым, созвучны и стихи Виктора Стражева, посвященные абхамам. Они вошли в поэму «Песнь о голубоглазом», изданную в Сухуме в 1923 году. Поэт писал:

Позабывши сам – откуда,
Он прибрел тропинкой горной,
Древних рас живой осколок.

Море синее шумело
У подножья гор зеленых.
И приморье полюбилось.
И нагорье приютило.
В заповедной чаще леса
Взял он дремный шепот листьев,
У змеи он взял шипенье,
Взял у птицы сладкий щебет,
У цикады стрекотанье,
У ручья певучий лепет –
Ими речь свою украсил
И в гортанный влил их говор,
Тот, что вынес издалека.
Он у горного потока
Научился злой отваге...

И еще об одном интересном примере. Переправляясь через бурную реку в Бзыбском ущелье, Стражев сочинил шуточные стихи:

В зыбке над Бзыбью зыблюсь.
Миг! – и я в Бзыби урыблюсь.
Зыблюсь над Бзыбью в зыбке,
Понравлюсь ли бзыбской рыбке?

Используя прием аллитерации и ударение на гласную «ы», Стражев добивается от русского четверости-

шая как бы абхазского звучания. Поэтом очень удачно создана иллюзия фонетического фона абхазской речи.

□

Тему: река – речь – продолжила и Мариэтта Шагинян. Подъезжая к Гагр в 1928 году, она писала:

«На редкость красивые абхазцы в башлыках. По пути в Абхазию странные названия рек: Мзымта, Бзыбь, Псоу и т. д. Интересные мосты, очень высокие, монументальные, доказывающие, какой силы на этих реках бывает паводок».

«Весь берег Черного моря на территории Абхазии прорезывается частыми речками с названиями, трудно выговариваемыми по причине множества согласных: пс, бз, пш, мз и т. д.».

И продолжила:

«Весь этот прибрежный отрезок от Гагр до Батума пересекается перпендикулярчиками быстрых горных рек, названия которых звучат, как тщетные попытки остановить бегущего: Бзыбь, Псоу, Хипста, Гумиста, а большие, полноводные реки отзываются урчащей, медленной, водяной массой: Ингур, Кодор, Рион».

С самой неожиданной стороны взглянула Шагинян на абхазов. Речь их поразила ее.

В пятницу, 12 октября 1928 года, после посещения Совнаркома республики, она внесла в свой дневник:

«Лакоба, Нестор Аполлонович, абхазец, стоит во главе Абхазской республики. Это небольшого роста, глуховатый, как я, человек. Он напомнил мне почему-то ацтека. Это впечатление схожести с ацтеками (умирающее от изолированности, гордое, нежизненное начало расового типа) потом усилилось и на других абхазах. И кроме того, их странный язык тоже напомнил мне странную речь ацтеков (Жоэквара – “Монтецума” – “Попакате петль” – Псуа, Псхнэ и т. д., потом я лучше подберу схожее, сейчас устала думать).

Последние тихие, теплые, с музыкой, с тихими звездами ночных пароходов, вечера в Сухуме».

Что это, буйная фантазия или интуиция? Абхазы, ацтеки...

Правда, в современной лингвистике есть мнение, что абхазо-адыгские языки наиболее близки китайско-тибетским, хаттскому, баскскому...

А как же с ацтеками?

Еще немецкий кавказовед Г. Деетерс предположил возможную генетическую связь абхазского с американскими языками.

А современный исследователь Г. А. Климов говорит, что «американоидный» облик абхазского языка «особенно бросается в глаза». Но имеется в виду не Южная, а Северная Америка.

Причем наибольшее сходство абхазо-адыгских языков наблюдается с языками цимшиан-чинук тихоокеанского побережья Канады и США.

Вполне возможно, что парадоксальное, на первый взгляд, восприятие Шагинян послужит в будущем толчком к еще одной гипотезе.

□

Воздушную мысль Белого о «будущей речи» более четко определил Мандельштам.

Конечно, независимо от Белого.

Осип Мандельштам относился к абхазскому языку как к «будущей речи» человечества.

В 1930 году он был в Сухуме:

«Отсюда следует начинать изучение азбуки Кавказа, здесь каждое слово начинается на “а”. Язык абхазцев мощен и полногласен, но избыток верхне- и нижнегортанными слитными звуками, затрудняющими произношение; можно сказать, что он вырывается из гортани, заросшей волосами.

Боюсь, еще не родился добрый медведь Балу, который обучит меня, как мальчика Маугли из джунглей Киплинга, прекрасному языку “абсны”, – хотя в отдаленном будущем академии для изучения группы кавказских языков рисуются мне разбросанными по всему земному шару. Фонетическая руда Европы и Америки иссякает. Залежи ее имеют пределы».

Мандельштам предостерегал мир.

И восторгался по-прежнему древней Абхазией, ее народом, связанным чуть ли не родственными узами с небом, горами, деревьями, реками...

«Слава хитрой языческой свежести и шелестящему охотничьему языку – слава!» – воскликнул на прощание Осип Мандельштам.

2. Пять прошедших...

Где-то поблизости билась ушедшая в землю жизнь. Но ее можно было прочесть на бронзовых лицах людей. На ястребином профиле.

В головокружительном водовороте синеглазья сливались и Мзымта, и Бзыбь, и Чхалта. И чья-то гортань, будто зодчий, выстраивала из прозрачных камешков звуков необычное здание речи. И язык на ветру проливался в зеленый воздух.

Стражев слышал абхазов. Слушал пульсацию народа.

Что-то в нем от большой птицы –
В поступи – глазах.
Жизнь ему как будто снится.
Смерть – пробуда – прах!

Где в нем бурный бег столетий?
Скорбь седых времен?

Так смеются только дети,
Как смеется он?

На своем коне летучем
Он счастливей всех.
В нем, беспечном и кипучем,
Бьет восторг утех.

В нем и есть и лень Востока,
В нем и хищный юг!
Отомстит врагу жестоко,
Другу – верный друг.

Он с отменно светлой лаской
Примет гостя в дом.
Но гляди за ним с опаской
Где-нибудь потом.

В нем жива души свобода,
Весь он вечно нов!
Но скрижаль его народа –
Бытие без слов.

Древних рас живой осколок
Он, в остатке сил,
Перейдя последний волок,
Быль веков забыл.

Проходили вереницы
Бурь, и войн, и бед.
Грек с Арго и сын Волчицы –
Занесли свой след.

Приносила Византия
Свет и Крест, и Кровь...

Виктор Стражев прочел древние страницы земли. Воспел «руинную Абхазию». А летом 1926 года, открыв в горном селе Азанта первый дольмен, не без юмора заметил: снял с «Абхазии обвинение в бездольменности».

В археологии он был поэтом.

Где-то в глухом ущелье откопал строчку: «Древних рас живой осколок...»

Вслед за азантским нашел дольмены в Отхаре...

В мае 1926 года с археологом Михаилом Иващенко провел «два дня в бронзовом веке». Находки в Аацы и Петропавловке близ Гудаут наконечников пик и стрел, кинжалов и топорика с легким рисунком повергли историков в «бронзовую лихорадку».

Стражев не удержался: «Памятники кобанской культуры в Абхазии – это было слишком большое событие для нашего археологического сердца!»

Так, вслед за случайными находками А. А. Миллера 1907 года, здесь была открыта изящная колхидско-кобанская культура.

Встречи с «бронзовыми» летописями прошлого превращались в праздники. А поездки за несколько десятков километров от Сухума оказывались путешествиями длиной в несколько тысяч лет.

Об одной из них Стражев очень метко заметил:

«Около десяти вечера афонские огни вернули нас из века бронзы в век электричества».

Зеленоватая бронза, казалось, была пропитана духом народа. Высокой поэзией.

Возвращаясь из Бзыби, он записал: «Вечером сидел в калдахварском духане, слушал от молодого абхазца сказания о нартах, вертел в руках бронзовый браслет, найденный где-то поблизости».

Поэзия и археология. Поэзия и история. Это было естественное творческое состояние Стражева.

Они сошлись и в «Диоскурийских сонетах». Сошлись на сухумской набережной древнего города Диоскурия, заложенного еще эллинами. Стражев вдыхал мраморный воздух ранней античности:

...Не раз, под гравием, разрыхливши песок,
Я находил узорный черепок...
Под шум прибойа, в немь тысячелетий
В твоей ладье я уплывал, сонет!

И мне мерцал диоскурийский свет...
И я мечтал себя в неведомом поэте.

Молодые волны старого моря наступали на древнегреческие и римские города. И хотя неприятель уже ворвался в Диоскурию, Гюэнос и Питиус и захватил отдельные улочки – они продолжали неравную битву, сдерживая осаду свирепого войска. «Старой сказкой, старой песней, старым вековым бытом овееяна, оплетена Абхазия, – писал Стражев. – Камни развалин густо раскиданы по ней – летопись тысячелетий! Море грызло ее берег – смывало и топило улицы и башни древних приморских городов».

Не только Античность, но и Средневековье, Новое время – все интересовало поэта:

«...Отвластвовал воинственный Рим, державший по всему взморью свои сторожевые гарнизоны, – обронил в землю монету Цезаря и медный шлем солдата. Была и пробыла Византия – обрушились стены ее храмов, башен, крепостей. Возникло и пало двухвековое царство царей абхазских, отошла державная рука грузинских Багратидов, отторговали гемуэзцы, закатилась власть турецкого полумесяца – остатки, обломки могилы, смутная память. Дожила свой век феодальная Абхазия, умер в далеком Воронеже последний владетельный князь. Стояла на берегу императорская Россия полвека...»

Тема истории абхазского народа прозвучала и в «Песне о голубоглазом»:

Шли года его у моря.
Шли века его у моря.
С кем-то жизнь его сплеталась,
С кем-то был врагом он смелым,
С кем-то был он другом верным,
У кого-то что-то отнял
И кому-то что-то отдал,
Что-то он берег ревниво,
Что-то тратил своенравно,
Что-то строил, что-то рушил...
Но о том волну спросите,
Ту, что отмели целует,
В час полуденного зноя.
.....
Да и каменные груды
Старых башен, стен и храмов,
Те, что время раскидало
Там и тут по побережью,
Крепко помнят быль седую.
Гости хищные Сидона,
Грек с Арго и воин Рима.
Дикий скиф и перс-воитель,
И ромей, политик зоркий,
И лукавый генуэзец –

Много-много приходило,
Уходило, будто волны...



«Генуэзский глухой переулок...»

Здесь, между двух подножий – горы Баграта и моря, останавливался в 20-х годах Василий Каменский. Он подолгу жил в Сухуме. Жил в Генуэзском переулке. Переулок был похож на стеклянную ножку фиолетовой рюмки. Вдоль – цвела средневековая сирень. Вверху, на голове горы, разрушаясь, росла, в объятьях бульжника, крепость. Переулок был поэтичным. Вместе с режиссером Николаем Евреиновым поэт представлял его «генуэзским». В этом глухом переулке в 1923 году Каменскому пришли стихи:

...Есть у старых людей
Золотое предание,
Будто здесь был прикован
Огневой Прометей
На скалистую гору-ладонь,
На страданье...
И с тех пор тот огонь
Потушить никому не удастся.
Он горит,
Как несущийся конь.

Он горит
В каждом сердце абхаза.

И вновь звучит у моря тема Диоскурии. Слышится легенда об абхазском Прометее – Абрскиле и сказание о волшебном коне Араше.

Прошло ровно десять лет. И Василий Каменский пишет поэму «Абхазия».

Поэт вспоминает прошлое:

...Где-то там за спиной,
За высокой стеной
В дальних, синих горах
Проживают легенды
В ущельях-норах.
Прометей,
Генуэзцы,
Золотое руно
Да осколки разрушенных башен
Нам внушают,
Что очень давно
Этот край был
В поэме раскрашен.

Генуэзцы обратили на себя внимание и Вадима Шершеневича. Может быть, потому, что в Абхазии тогда очень много говорилось об итальянских море-

ходах Средневековья? Так, в 1925 году он упоминает «знаменитый (и действительно редчайший!) итальянский мост» на реке Басла и «легенду об романском происхождении абхазцев».

Сухум был окружен плотным кольцом исторической романтики.

Не обошел молчанием генуэзский период и Вячеслав Шишков.

В письме к сухумскому литератору И. А. Новодворскому он писал:

«Вы еще не овладели в достаточной степени небольшим рассказом... Вам бы проехаться по России или заняться исторической, не связанной с современностью темой. Хотя бы из жизни той же Абхазии, восстановить довизантийский, византийский периоды, генуэзцев, может – скифов...»

И даже Мариэтте Шагинян почудилось: «Название “Ткварчели” звучит по-итальянски».

Стражева волновал и XIX век. Войны, восстания, махаджирство.

Он пояснял: «Мохаджиры – “беженцы”, переселенцы в Турцию, черкесы и абхазы, вынужденные покинуть родину в эпоху покорения Западного Кавказа силой русского оружия. Это переселение до наших дней осознается в Абхазии как национальная печаль».

Пояснял к стихотворению «Мохаджир». В 1923 году.

Завесил вечер синими чадрами
 Родные берега.
 Но все горят-горят прощальными кострами
 Высокие снега.

.....

Земли моей я взял и на чужбину
 Священных семь горстей.
 «Вот все, что я сберег, – скажу угрюмо сыну, –
 От родины твоей».

В XIX веке было несколько волн переселения абхазов в Турцию.

Но самая мощная – после народного восстания 1877 года в период Русско-турецкой войны (см.: Г. А. Дзидзария). Десятки тысяч абхазов вынуждены были покинуть родину. Сухум и прилегавший к нему Гумистинский участок обезлюдели. А те, кто остались на своей земле, были объявлены царским правительством «виновными». Им запрещалось, например, селиться ближе, чем за семь километров от берега моря, проживать в Сухуме, Гудауте, Очамчире...

Образовавшийся после махаджирства вакуум самодержавие спешно заполняло «надежным элементом».

В 80–90-х годах сюда, как в открытые ворота, хлынул поток армянских и греческих переселенцев из Турции. С каждым годом стало увеличиваться мегрельское население, в основном это были безземельные крестьяне из Зугдидского и Сенакского уездов. Так, в Гумистинском участке в считанные годы появились греческие, русские, армянские, мегрельские, болгарские и другие села. Происходила самая настоящая «этническая революция». Буквально за одно десятилетие Абхазия, населенная до событий 1877 года исключительно коренным абхазским населением, превратилась в пестрый в этническом отношении край.

Махаджирство нарушило этническую целостность народа. Гудаутский и Кодорский участки оказались оторванными друг от друга. Между бзыбскими и абжуйскими абхазами умышленно был вбит клин – в промежуточном Гумистинском участке, как грибы после дождя, росли все новые неабхазские поселения.

Особенно бурно протекала колонизация абхазских земель крестьянами из районов Западной Грузии, главным образом Мегрелии.

Если по данным первой всероссийской переписи населения 1897 года в «Сухумском округе» (Абхазия) абхазы составляли 55,3 % от всего населения, то к началу Первой мировой войны, в 1914 году, их численность равнялась менее 40 % (см.: З. В. Анчабадзе). В то же время число грузинских, русских и армянских переселенцев

неуклонно возрастало. В 1923 году в своих абхазских очерках Зинаида Рихтер отмечала: «До сих пор продолжается незаконный захват земель переселенцами».

В архиве сохранились и тексты арий, написанные Виктором Стражевым в 30-х годах к опере «Махаджирь» Михаила Лакербай.

В горах скиталась молодость моя,
Искала там орлиной гордой воли...
И в жадном сердце пела кровь моя,
Душа ждала высокой светлой доли.

И день, и ночь, и годы, и века
Ты мчишься, Бзыбь, река моя родная,
Несешься к морю, вольная река,
Крылатый шум безоблачного края!

Не ты ли унесла и шум годов моих?
Не ты ли смыла след моей любимой?
И сердцем будним стал давно я тих,
А Бзыбь шумит и мчится мимо.



Современность и язычество, быт и особенности исторического развития, патриархальность и нравственное состояние народа...

Какими увидели Абхазию и абхазов 20–30-х годов писатели? Сегодня это тоже стало историей.

Взгляд как бы со стороны всегда интересен, а в особенности чуткий взгляд художника. Он способен подметить неожиданные черты, важные «мелочи» жизни народа. По ним можно восстановить портрет его прошлого и разглядеть профиль будущего.

В 1923 году Стражев взялся за повесть для юношества «Адзыслан». В нее «обильно вошел местный фольклор, путешествия с археологом, описание обычаев и жизни абхазцев». Писатель удачно ввел легенды об охотнике Хуху и последнем лесном человеке с каменным топором посреди груди, об ацанах-карликах, о нартах, о златокудрой русалке Адзыслан с вывернутой наперед пяткой, о языческом боге Ажвейпшаа, об абхазском герое-мученике Абрскиле, прикованном к пещере Ач-кы-тызго...

Но особенно интересно показан тот своеобразный уклад жизни абхазов, с которым герои столкнулись здесь в 20-х годах. Вот, к примеру, какая беседа состоялась между двумя русскими плотниками, прибывшими в Абхазию, и учительницей Натальей Ивановной:

«Говорливый Клим садился на любимого конька: все чужое – плохо, все свое – хорошо. У Митрия была особая речь: он поддакивал всему, что говорили другие...

– Неудобный народ, Наталья Ивановна, очень неудобный. Лесу тут до ужаса, а не промышляют, как

полагается. К морскому делу тоже не охочи. Турки, сказывают, у них рыболовством до войны интересовались. Так то – турки, а они – нет! Ну, мингрелец там, грек да армянин... Эти бойкачи! На табаке копейку вышибают, духаны держат али еще что, а вот – абхазец! Ремесла не знает, торговлей брезгует. Винца попил, чурека поел и айда на лошадке. Куда, милый? А так – в гости. Охотники до гостей! Эдак не разживешься. Не-е-ет!..

– А земля богатущая! – сплюнув табачную слюну, продолжает Клим. – В горах будто и серебро, и медь, и уголь каменный, и вода лекарственная. И все лежит зря.

– Верно! – вставляет Митрий.

– Пусти тут промышленность серьезную, так это что будет! А они как? На дворянской бедности живут. У пирога сидит – сам корочку гложет. А? Вот ежели угостить кого – последнюю, скажем, курицу зарежет. Ешь – пей хоть целый год! Без копейки! А чтобы яичко тебе продать – нипочем. Скажи, пожалуйста! Сто рублей в кармане, а с голоду у абхазца помрешь. Право слово.

– Древний народ абхазцы, – тихо говорит Наталья Ивановна. – Нашей России еще в помине не было, а у них свое царство уж было».

Такая характеристика народа с очень сильными родовыми и патриархально-общинными традициями основывалась прежде всего на неприязни абхазов к любым проявлениям товарно-денежных отношений,

а также на их верности, вплоть до 20–30-х годов XX века, натурально-потребительскому хозяйству.

Так, например, занятие торговлей презирилось абхазами. В 1854 году К. Чернышев заметил: «Абхазец считает стыдом входить в какие-либо торговые сношения...» С. Пушкарев дополнил: «У абхазского простолюдина нет склонности к торговле». К такому же выводу в 1867 году пришел и Ф. Завадский: «Торговлею абхазцы не занимаются. Она вся в руках турок и мингрельцев. Абхазцы же занятие торговлею считают делом постыдным».

Традиционное отношение народа к торговле сохранялось еще довольно долгое время. Во всяком случае, это своеобразие абхазов, подмеченное Стражевым в 20-х годах, оставалось характерным для них и в последующее время...

На эту черту обращали особое внимание многие авторы минувшего столетия. В конце 60-х годов XIX века газета «Кавказ» опубликовала любопытную беседу корреспондента с абхазцем в Очамчире.

«– Отчего же ты дома не пьешь чаю? – продолжал я.

– Денег нет, сахару нет. Сахар не растет у нас, его привозят турки, надо купить.

– Да ты сам можешь торговать сахаром. Продай своих баранов, сделай духан, накупи сахару и торгуй.

– Как можно! Абхазец не умеет торговать. Торгуют турки, армяне, мингрельцы.

– А абхазец не может?

– Да, не может. Каждый народ годится на что-нибудь одно. Вот вы, русские, – большой народ, у вас большой царь, а также не умеете торговать.

Это замечательное убеждение, что Россия чисто военная держава, что в ней только и делают, что сражаются да покоряют других, а не торгуют и почти не занимаются земледелием, особенно всеобще в горной Абхазии. При совершенной замкнутости жизни, недостатку сообщений, только немногие взрослые бывают в русском военном поселении Сухум-Кале или в Очимчыры; но там, кроме военного сословия и нескольких чиновников, они других русских не видят. Замечая, что в русских поселениях, как и у них, вся торговля в руках армян и турок, абхазцы и пришли к заключению, что русские не занимаются торговлей».

Стражев был безусловно прав, когда писал, что абхаз «торговлей брезгует», но вот другое его мнение – «ремесла не знает» – не совсем точное. Хорошо известно, что абхазы занимались обработкой металлов, дерева и кожи, гончарным и шорным делом, ткачеством, приготовлением пороха... Однако эта продукция не продавалась, а обменивалась. Она носила характер домашнего производства и деревенского кустарного ремесла, которые вследствие господства натурального хозяйства были слабо развиты и не отделились от земледелия и скотоводства (Г. А. Дзидзария) в самостоя-

тельную сферу, оставаясь тесно связанными с этими основными формами производительной деятельности населения.

Большой интерес в этой связи представляет свидетельство народного учителя Фомы Эшба, высказанное в 1891 году: «Преимущественное население обществ: Очемчирского, Илорского и Беслахубского – абхазцы, народ, считающий занятие каким-нибудь ремеслом за стыд. Вот почему среди здешнего туземного населения чрезвычайно мало развита кустарная или ремесленная промышленность».

Абхазы, занимаясь сельским хозяйством, брали от земли ровно столько, сколько необходимо для жизни. Они прекрасно сосуществовали с окружающей их природой, почитая леса и деревья, реки и родники, птиц и зверей. Они прислушивались к шелесту мира, шороху трав. Такому естественному отношению к природе способствовала в немалой степени и «национальная» религия абхазов – язычество, с великолепным пантеоном многочисленных богов...

И все же не земледелие и скотоводство и тем более не ремесло, а военное дело и охота являлись самыми почетными занятиями. Каждая община представляла своего рода военный лагерь и жила вплоть до окончания Кавказской войны на своеобразном «военном положении». Но и в дальнейшем, несмотря на

неоднократные репрессии и разоружение абхазского населения после восстаний 1866 и 1877 годов, а также обезоружение всей Бзыбской Абхазии в 1898 году, все домашнее хозяйство их носило как бы подчиненную роль и по-прежнему служило необходимым придатком военного дела. Быт абхазских феодалов и свободных общинников-крестьян был в значительной мере милитаризован. Так, в самом конце XIX века газета «Черноморский вестник» отмечала: «Оторванные от ружья и шашки, абхазцы еще и до сих пор не успели приспособиться к новым условиям существования».

В психологическом плане интересно и такое наблюдение, высказанное в 1902 году: «Абхазцы боялись всего русского, даже шапки и костюма, и учителя, принаравливаясь к вкусу и желаниям абхазцев, надевали туземный костюм и в классе занимались в полном вооружении, имея за поясом кинжал, револьвер и шашку».

Еще в 1877 году «Тифлисский вестник» пришел к выводу:

«Не подлежит сомнению, что этнографический, социальный, политико-экономический быт и мировоззрение абхазцев резко отличают их даже от соседних народов».

Так, в систему «горского феодализма» Абхазии крепко вжились элементы родо-племенного строя, что свидетельствует о его демократичном характере...

Абхазский этнограф Ш. Д. Инал-Ипа очень верно заметил по этому поводу: «Перед нами, скорее всего, замедленный процесс длительного вызревания феодальных отношений из военно-демократического строя, получившего в крае необычайно большое развитие и существовавшего здесь в течение многих столетий».

Вообще нужно отметить, что социально-политический уклад абхазской жизни с ярким архаическим обликом был весьма устойчив на протяжении веков. А вольность и свобода всегда составляли ее плоть и кровь. На эти черты обратил внимание академик Г. А. Меликишвили. В своей работе (1973) он справедливо заметил, что именно слабое развитие феодальных отношений при наличии основной массы свободных общинников являлось источником монолитности и силы Абхазского царства, стоявшего в VIII – начале XI века на острие кавказской политики. «Войска абхазских царей переходят Сурамские горы, – пишет Виктор Стражев, – занимают Карталинию, воюют с арабами, вмешиваются во внутренние дела Грузии, изнывающей под арабским игом, льют кровь в династических междоусобицах и распрях. Строительной деятельности этих царей обязаны, между прочим, своим возникновением многие храмы Закавказья и особенно – самые замечательные – Мартвильский при Георгии II, Моквинский и Кумурдский (на берегу Куры) при Леоне II. Нет сомне-

ния, что исконно племенная Абхазия в эту именно эпоху покрылась многими храмами, густую сеть развалин которых мы находим сейчас в стране».

Абхазское царство с преимущественно вольным населением в структуре общества резко отличалось от Картли и Тао-Кларджети, где быстро развивался феодализм и шел бурный процесс закрепощения крестьянства. Об авангардной роли и влиянии этой страны на дальнейшую политическую жизнь в Закавказье Т. А. Меликишвили сообщает: «...Известно, что цари объединенной Грузии именовали себя прежде всего “царями абхазов”, а титул “царя картвелов” занимал в их титулатуре лишь второе место; столица Абхазского царства Кутаиси превратилась в столицу объединенной Грузии и оставалась ею в течение более чем целого столетия; отсюда, опираясь в основном на силу того же Абхазского царства, цари объединенной Грузии еще долгое время вели упорную борьбу за сохранение этого объединения...»

Сельская община («акыта») являлась своеобразной «основой основ» и очень устойчивой моделью общественного устройства Абхазии.

Она объединяла все категории населения, была пропитана молочным родством («аталычество») феодалов с крестьянами. Дети князей и дворян, отданные

на воспитание в крестьянские семьи («анхаю-цкья»), становились, как и их родители, близкими родственниками. Тем самым устранялись по сути серьезные словесные противоречия. В свое время К. Мачавариани писал: «В общем, в Абхазии между низшими и высшими сословиями не было того антагонизма и той отчужденности, какие существовали в Гурии, Имеретии и Грузии». Нестор Лакоба в 1922 году отмечал, что «в жизни абхазцев история не знает существования больших различий в правах отдельных сословных групп».

Абхазия занимала промежуточное положение между демократическими вольными обществами горцев Северо-Западного Кавказа и развитой, феодальной системой Грузии. Однако по структуре и духу своего общественного устройства она, несомненно, была теснее связана с убыхо-черкесским миром.

Интересно, что 3/4 всего населения Абхазии составляли свободные общинники. Здесь все категории крестьян являлись собственниками земли. В 1869 году в «Очерке устройства общественно-политического быта Абхазии и Самурзакани» говорилось: «В поземельном отношении все сословия равны».

Феодал не имел права отобрать у крестьянина землю, оскорбить, избить или продать его. Константин Мачавариани в 1913 году писал: «Вообще, все сословия туземного населения Абхазии были совершенно равноправные поземельные собственники...

Такое поземельное право ставило низшее сословие вне зависимости от привилегированных классов».

Вплоть до крестьянской реформы 1870 года здесь не существовало феодальной собственности на землю. Не существовало фактически и крепостное право... В соседней же Мегрелии, например, крепостничество бытовало в самых уродливых формах, а во внутренних районах Грузии его оформление завершилось уже в XIII–XIV веках...

«Прекращенная» реформой «личная зависимость» абхазских крестьян в известной степени закабалила крестьянство и пошатнула традиционный ритм жизни. Таким образом, в пореформенный период, совпавший с утверждением русской администрации и усилением царского произвола в Абхазии, здесь не могли не произойти некоторые изменения в укладе жизни, но они не были столь существенными на общем фоне бурного общественного развития.

В условиях хуторского землевладения пахотные наделы не являлись собственностью всей общины, а находились в посемейной или надворной собственности абхазов. Общими же для всех и открытыми для совместного пользования были только пастбища и леса.

Взаимная экономическая помощь абхазов и моральная поддержка на основе кодекса «аламыс» способствовали атмосфере благополучия и создавали не-

обходимый достаток. Среди абхазов не было ни одного нищего, что свидетельствует в пользу относительной социальной справедливости их общественного устройства... «Вообще все абхазцы гнушаются нищета, – сообщалось в 1897 году, – профессиональных нищих, которыми переполнен Закавказский край, вы на побережье не встретите... Отхожие промыслы почти незнакомы абхазцам, да и вообще абхазец не признает никакой чужой поденной работы, приравнивая ее, по вековым традициям, к тому же ниществу...» Спустя двадцать лет К. Мачавариани скажет: «Но удивительно то, что бедных, то есть нищих, в Абхазии не было и протягивать руки для помощи считалось и считается позором и преступлением».

В отличие от других народов, нахлынувших на опустевшее побережье Абхазии после Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, абхазы, за очень редким исключением, не занимались торговлей и отхожими промыслами, считая эти занятия позором и унижением. Иными словами, они были лишены всего того, что втягивает в товарно-денежные отношения, ведет к разрушению общины и формированию кадров рабочего класса...

В конце XIX – начале XX века абхазы еще сохраняли многие черты, присущие психологии народа-воина, и это резко выделяло и отличало их от пришлого прибрежного населения. Очень яркое описание их

своеобразного уклада жизни дал в 1894 году Г. А. Рыбинский:

«Причины бедности абхазцев заключаются не в недостатке хорошей земли (с этим они еще могут мириться), а в историческом складе их жизни, традиций, обычаев, отрешиться от которых они не в силах, потому что на них зиждутся все почитаемые ими догматы нравственности... Эти догматы и самобытный склад мирозерцания абхазцев делают их брезгливыми к торговле, к промышленности. Они считают за величайший стыд быть торгошом в лавке, а тем более содержать духаны, кабаки, и крайность доходит в этом до того, что считают за стыд промышленять, пользоваться доходом от продажи продуктов своего хозяйства: молока, масла, сыра, яиц, кур и других продуктов, и эти врожденные понятия настолько сильны среди них, что за 40 лет нашего влияния на склад их жизни они примирились лишь с необходимостью продавать только кукурузу и фрукты, и то, не сами везут эти продукты на базар, а ждут пока к ним заявятся скупщики, хотя прекрасно понимают, что это самая невыгодная форма продажи. Их стыд появиться с возом продуктов, результатом их полевого труда превосходит стыдливость наших бар... Но над стыдом абхазца призадумываешься, потому что в основе его стыда лежат нравственные принципы, присущие всем

горцам, способные вызвать к ним невольные симпатии, хотя они и являются аномалией нынешнего века... Исключительность нравственного склада духовной их жизни заставляет абхазца сторониться города и его рынка; седла, подпруги, уздечки, носильное платье – одним словом, все, что требуется для них, чтоб появиться в приличном виде среди своего общества, есть изделия их жен и дочерей; в лавках покупается лишь то, что недоступно сделать самим. Всякую продажу, торгашество абхазец считает грязным делом, оскорбляющим достоинство человека-воина, а поэтому по сей час никто из них не живет в Сухуме, в Гудаутах, в Очемчирах, предпочитая жить вне пунктов торговли, среди просторов роскошной природы, занимаясь сельским трудом земледельца-хуторянина. К этим свойствам абхазцев, народа, который не может забыть свою воинственность в прошлом, присоединяется также ненавистничество к позорной, по их мнению, форме труда в виде батрачества. Хотя им и трудно живется и есть позыв выйти из рамок спартанского аскетизма, но он всеми силами старается уклониться от наемного труда, считая такое положение для себя унижением. Он признает труд только на самого себя, и если вы его увидите работающим на князей и дворян, то во всяком случае он выполняет это не за плату, а в виде взаимного одолжения... Вы нигде не увидите его в роли поденщика-рабочего».

Эта характеристика Г. А. Рыбинского оставалась верной и для последующих нескольких десятилетий. Абхазы еще во многом сохраняли чистоту горских нравов, что объяснялось прежде всего очень слабым проникновением в их замкнутую патриархальную среду товарно-денежных отношений. Именно эту отличительную черту народа отмечают почти все авторы XIX – и даже 20–30-х годов XX столетия. Так, К. Мачавариани подчеркивал: «В своей нравственности абхазцы гораздо выше стояли многих других племен».

В то же время в их среде вплоть до установления советской власти была неразвита система отхожих промыслов. Абхазское крестьянство стояло как бы в стороне от капиталистического развития, соблюдая верность традициям прошлого. Эти воззрения, по словам историка А. В. Фадеева, тормозили развитие пролетаризации абхазской деревни.

В отличие от абхазского, почти все сельское население рабочего возраста Мегрелии, Имеретии и Гурии принимало самое живое участие в отхожих промыслах, нанимаясь на различные работы, главным образом грузчиками, в черноморские порты от Константинополя до Батума и от Сухума до Одессы. «Абхазцы не дают ни одной рабочей силы, – сообщала газета, – и заменяются сильно наплывающими мингрельцами».

Процесс пролетаризации абхазского крестьянства был замедленным и начался практически лишь в советское время.

Особенно контрастно жизнь абхазов воспринималась в начале XX века. В 1902 году в очерке «Абхазия» говорилось:

«В общем абхазцы до сих пор еще ведут почти натуральное хозяйство. Они смутно чувствуют, что новое денежное хозяйство во всех своих сложных комбинациях отражается и на них, вторгаясь в их жизнь и разрушая те “устой”, на которых была построена абхазская жизнь... В Абхазии замечается поразительное отсутствие денег. Вы не заметите в Абхазии процесса выделения капитала и постепенной концентрации его в одних руках и обеднения других, здесь все бедны деньгами... Естественно, что, не располагая оборотными капиталами и знаниями, абхазец не может противостоять значительно более сложному экономическому целому... “Абхазец не может работать, он работу презирает”, – говорят многие. Правда, были попытки со стороны лесопромышленника Максимова привлечь абхазцев на земельные работы. Но, проработав несколько дней, абхазцы ушли. Ушли не потому, что презирают работу, а в силу неспособности к “рабочей” жизни. Их опять потянуло к кукурузе, в горы. Так они работают и хорошо работают...

Абхазский народ – еще ребенок. Наивно смотрит на жизнь. Его душа полна смутным миром языческих верований, легенд, преданий. Абхазец не в состоянии вместить в своем несложном понятии новых вопросов жизни. В нем много благородства, цельности и красоты, которой сплошь да рядом не имеем мы, культурные, развинченные люди...»

Лишь с начала второго десятилетия XX века наметились перемены в абхазской жизни. К этому времени окрепла и небольшая группа народной интеллигенции – Д. И. Гулиа, А. М. Чочуа, С. Я. Чанба, С. П. Басария, Д. И. Алания, Мих. И. Тарнава, В. Г. Адлейба и другие, которые способствовали «возрождению абхазцев» (1910–1917). Примечательно, что этот процесс усилился в ходе Первой мировой войны.

В апреле 1916 года известный абхазский просветитель Самсон Чанба в статье с символичным названием «На пути к сознательности» (см.: Г. А. Дзидзария) призывал: «Ныне Абхазия, так сказать, стоит на пороге сознания, или, вернее, сознательности. Она начинает понемногу сознавать, что жить жизнью “старой старины” теперь трудно, а необходимо начинать жить иной жизнью – культурной, потому что в борьбе за существование следует пускать в ход ныне не силу, не оружие, в буквальном смысле этого слова (как бывало в старину), а оружие духовное, способное вывести ее из ее беспросветной будущности».

Спустя некоторое время появилась статья Мих. И. Тарнава «Культурный перелом в абхазской жизни», в которой автор отмечал, что происходит постепенное вступление абхазцев «в число трудящихся наций». «Надо заметить, – писал он, – что всепоглощающее военное время отразилось и на абхазской жизни, преимущественно в экономическом отношении. Оно разбудило сонных абхазцев и показало им, что вокруг них совершается явление необыкновенное, что необходимо им выйти из тяжелой конъюнктуры экономической жизни, что надо им приспособиться к новым требованиям...»

Однако, несмотря на некоторые изменения, процесс вступления абхазов «в число трудящихся наций», то есть их пролетаризации, тормозился. Почти все абхазское население в 20-х годах продолжало оставаться крестьянским, с ярко выраженными патриархальными чертами быта. По всесоюзной переписи 1926 года, рабочие-абхазы составляли всего 165 человек (2,6 % от всех рабочих Абхазии), из которых сельскохозяйственными были 123 человека. В 1933 году Н. А. Лакоба подчеркивал: «Мы пока только боремся за создание пролетарского ядра из местных националов» (Г. П. Лежава).

На эту особенность обратила внимание и Мариэтта Шагинян. Посетив в 1928 году Ткварчелстрой, она называет среди рабочих лишь нескольких абхазов

(Темыр Гемуа и дру). В своем дневнике писательница отметила, что здесь «около ста абхазцев было раньше, но поубежали, – так рассказывает мастер, – 2–3 дня проработают и убегают...».

Мало что изменилось в их укладе после очерка «Абхазия», опубликованного в 1902 году. Абхазы продолжали сохранять свои основные традиционные черты.

В интереснейшей работе «К вопросу феодализма в Абхазии (По материалам научной экспедиции 1930 года)» известный советский историк А. В. Фадеев писал: «Отсталая техника, слабое трудовое использование природных богатств, господство натуральных сел.-хоз. культур, низкая товарность крестьянского хозяйства, земельные споры, феодально-родовые моральные представления о кровной мести, о “чистоте” фамилии, о позорности занятий торговлей и промышленным трудом, – все это тяжелым грузом висит на ногах Советской Абхазии, шагающей по пути социализма».

Эта оценка во многом перекликается с характеристикой абхазов, которая прозвучала в 20-х годах в повести Стражева «Адзызлан».

Кстати, по-видимому, неслучайно Стражев так назвал свою повесть. Язычество в жизни абхазов играло очень заметную роль, оставаясь господствующей идеологией крестьянства вплоть до последнего вре-

мени, на эту особенность обратил внимание и Осип Мандельштам (1930): «Абхазцы приходят к марксизму, минуя христианство Смирны, минуя ислам не через Смирну и не облизав лезвие, а непосредственно от язычества».

В этой связи весьма красноречив следующий факт. Создавая в 1917 году в Бзыбской Абхазии повстанческий отряд «Киараз», большевик Нестор Лакоба привел бойцов к самому почитаемому в Абхазии святилищу Дыдрыпш («Владение Громов»), где они поклялись верности в борьбе за независимость. «Руководители “Киараза” и в других случаях умело использовали старые традиции в решении революционных задач», – отмечает историк Г. А. Дзидзария.

Язычество способствовало воспитанию народа свободой. В отличие от христианства и ислама, многобожие создавало атмосферу своеобразного простора, без строгого, а главное, без явного подчинения одному богу. Абхаз находился под покровительством то одного, то другого божества. Он хитрил, оставаясь все-таки независимым ни от кого. Такая свободолюбивая черта народа, усиленная особенностями исторического развития – отсутствием крепостного права, воспринималась многими писателями-очевидцами как присущий абхазам анархизм.

Интересно, что заточение в тюрьме, любая форма неволи в понятии абхазов и некоторых других народов были равносильны смерти. Многие из них не выдерживали ограничения свободы даже в течение очень незначительного срока. Вспоминая о своем заключении в Сухумской крепости в 1907–1908 годах, революционер Василий Кавжарадзе отмечал: «Особенно умирали абхазцы, сваны, черкесы, которые вообще плохо выносили неволю».

О родовых пережитках, язычестве писали не только Стражев, Мандельштам, Шагинян, но и Зинаида Рихтер, посетившая Абхазию в 1923 году. Один из ее очерков так и называется – «Патриархальный быт»:

«В горной Абхазии, в районе реки Бзыби, сохранился нетронутый быт. Не верится, что вы всего в нескольких верстах от шоссе и побережья с его “культурой”».

На Кавказе я знаю два таких удивительных самобитных уголка: В. Сванетию и Бзыбскую Абхазию».

Удивлялась она и древним обычаям гостеприимства:

«Пастухи, зарезав барана, часть вареного мяса развешивают на ветвях у тропы, чтобы путник мог утолить голод. На проезжих дорогах встречаются открытые беседки, в которых абхазцы также ставят еду в деревянных чашках и питье для путников».

А Мариэтта Шагинян столкнулась с этим обычаем в другой части Абхазии, около Ткварчели. В 1928 году она внесла в свой дневник: «Мы встретили несколько шалашей, со скамьей и столиком внутри. В одном нашли приготовленную пищу. Обычай абхазцев – оставлять пищу в шалаше для путника».

Много необычного увидела Зинаида Рихтер в 1923 году. Здесь все еще, вопреки XX веку, сохранялось доброе старое время. И чувство было такое, что в Абхазии другой век, другое тысячелетие на дворе.

«В наиболее нетронутом виде патриархальный абхазский быт сохранился в селении Лыхны, – удивлялась она, – окруженном лесами и снеговыми вершинами. Посреди большого и благоустроенного села площадь с вековой липой, которую, между прочим, недавно расколола молния.

Под этой липой абхазы исстари собираются для решения всевозможных вопросов. Эти решения обязательны для всего населения. Советская власть с ними считается.

...Абхазское красноречие, своеобразность оборотов, конечно, много теряют при переводе. Но никогда мне не приходилось присутствовать на таком сдержанном, – я бы сказала культурном, – собрании.

Абхазы выслушивают оратора, не перебивая его ни шумом, ни вопросами, в классической, бессознательно-

величественной позе, опираясь на высокий посох или винтовку. Противнику дают высказаться до конца, возражают с изысканной корректностью, которой мог бы позавидовать любой лорд! Они очень солидарны и дисциплинированы и все вопросы разрешают необычайно быстро.

– В соседнем селении мы присутствуем на молении о дожде...

– Это слишком важная молитва, чтобы звать попа, – говорят они».

Подобным образом абхазы обсуждали все важные дела и, в частности, судебные. «Тот гласный суд, – писал К. Мачавариани, – которого добивались культурные страны в течение многих веков, хорошо был известен абхазцам и широко они пользовались им... По обычаю края никто из жителей Абхазии не был изъят от обвинения и каждому предоставлялось право потребовать другого в суде... Словом, никакие сословные преимущества и никакие родственные отношения не могли служить препятствием в подобных случаях... Дела решались всенародно, большей частью под открытым небом – под сенью столетних широколиственных деревьев». О том, как старина в абхазской жизни в конце 20-х годов еще продолжала преобладать над новым, рассказала Мариэтта Шагинян: «Абхазцы чтут

стариков, и это почитание возраста у них по сю пору сильнее почитания власти. Когда председатель или приезжий коммунист делает доклад, а в это время входит старик, все слушатели забывают о докладе и встают, громко приветствуя старика».

Одни деревья начинают цвести рано, другие – позже, третьи – еще позднее.

Всему свое время.

Так и народы.

Одни – пережили свой расцвет и давно угасли. Другие – только сегодня в буйном цветении.

Было Абхазское царство, но осыпались каменные лепестки его крепостей. Много еще было. Вот почему глубокой тоской по прошлому и тревогой о настоящем пронизаны думы старика-абхаза в повести Стражева «Адзызлан»:

«Сидел дед и, казалось, ушли его столетние глаза далеко и видят...

Что видят?

Далеко дедова Абхазия. Только в глухих Багрипшах доживает старина. Новые думы, новые песни, новые слова, новые люди. Что оживает в дедовых глазах? Лесные дебри родного края? Далекая кровавая борьба с “урусом”? Старый князь Маан, водивший в лихие набеги в Закубанье? Уходят старые люди, нет старых богов... На

священной горе Дыдрыпш скоро будет табачное поле? Где он – великий Айтар, бог богов? Далеко дедовы глаза... Что видят?»

История, дух, возможности народа отразились и в абхазском языке. В нем пять прошедших, одно настоящее и два будущих времени.

Не является ли эта система своеобразным шифром народа...

Видимо, абхазы, отдавая предпочтение прошлому, никогда всерьез не относились к настоящему, но в них всегда теплилась надежда на будущее.

II

«ЖИВЕМ В ГЕНУЭЗСКОМ ПЕРЕУЛКЕ...»

1. Сухумский ренессанс

Поэт Василий Каменский любил говорить: «Сухум замечательный город, там даже в бурю тишина».

Буря семнадцатого года, Гражданская война сделали это свойство неоценимым. Вся Россия гремела. Здесь – было тише, спокойнее. В Сухум-Кале не было холода, голода и массового кровопускания.

В Сухум-Кале плескалось теплое море, светило солнце, по-прежнему продавали рахат-лукум, подавали чай с каштанами и дымились кофейни, прикрытые садами цветов. Природа и местная традиция сглаживали эксцессы общественно-политической жизни.

Так море зализывает острые камни.

Революция.

Искания.

Скитания. Скитания великих поэтов, режиссеров, художников по осколкам бывшей империи. Окраины

превращались в центры русской авангардной культуры. Смещался ее акцент. Происходил отток лидеров литературы и искусства в Крым, Тифлис, Батум. Одной из таких культурных окраин стала Абхазия, город Сухум-Кале. Художники бегут к морю, потому что море – свобода.

Более полувека спустя Иосиф Бродский очень точно заметил в «Письмах римскому другу»:

...Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники – ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

У моря, в Сухум-Кале, родилось замечательное общество – «Художественное содружество» и «САО» («Сухумское артистическое общество»), куда входили Шервашидзе (Чачба), поэты Василий Каменский и Виктор Стражев, актриса Наталья Бутковская... Время 1917–1923 годов можно назвать периодом «сухумского ренессанса».

Победа Октября в Абхазии затянулась. Только весной двадцать первого года здесь была установлена советская власть. В течение четырех лет край жил иде-

ями Февральской революции и «демократии» грузинских меньшевиков. Революционные события на севере воспринимались в Сухуме как страшное нашествие. «Скифы» Блока потрясли интеллигенцию всей России, вселяли страх перед будущим.

Революция все ближе и ближе подкатывала к Сухуму. Ее страшились. О ней, о российской действительности, буржуазная местная пресса сообщала фантастические истории. Эту напряженность общества, ожидание в Сухуме «красных орд», передал Виктор Стражев. В октябре 1918 года он писал:

Ночная степь, и ветер от Востока,
От Азии – ее горячий дых.
И синь парчи, где выткан волей Рока
Узорный вихрь созвездий золотых.

Землей колдует сон, глухой, тягучий.
В тиши, далеко, ржанье кобылиц.
И вдруг они – как сердца бред летучий!
Опять они, в огне седых зарниц.

Их орды, там, из чрева дали смутной,
Как саранча, ползут и жрут поля,
И в несыти и в слепоте распутной,
Дыша пустыней, руша, пепеля.

И вновь земля дымится от пожарищ,
И реки багрянеют, как рубин.
И древний бич под новый клич – «Товарищ!»
Вершит судьбу – бывалый властелин!

Они идут, насильники и дети...
О, много раз так было искони!
На черный пир дорогами столетий
Они идут – новители. Они!

Их алый стяг развеян в небе кровью,
И смерть сама вошла в их буйный пляс.
Там, впереди – зареет утро новью,
Там, позади – усталый день угас.

Ночная степь, и ветер от Востока,
От Азии – ее горячий дых.
И синь парчи, где выткан волей Рока
Узорный вихрь созвездий золотых.



В 1917 году поэт-символист В. И. Стражев познакомился в Сухуме с драматургом Н. Н. Евреиновым. Как раз шла поставленная Николаем Николаевичем комедия-буфф «Ателье мод», в которой высмеивались представители многочисленных партий пестрой

политической жизни России. В своих воспоминаниях «Н. Н. Евреинов в современном мировом театре XX века» (Париж, 1964) Анна Кашина-Евреинова упоминает, что ее муж в 1917–1920 годах останавливался «в Сухуме и Тифлисе», где «читал лекции, ставил спектакли из одноактных сцен». Судя по свидетельству самого Николая Николаевича, он впервые посетил Абхазию еще раньше, в 1916 году. В рекомендательном письме А. К. Шервашидзе (Чачба) к двоюродному брату, писателю Г. М. Шервашидзе, жившему в Сухуме, художник сообщал: «Дорогой Георгий! Радуюсь, что хоть друг мой Николай Николаевич Евреинов увидится с тобой и порасскажет потом мне, как Ты поживаешь. Рекомендую его Тебе не только как одного из известнейших наших писателей и режиссеров, но и как симпатичнейшего и остроумнейшего собеседника...»

Однако Евреинов в 1916 году не застал Г. М. Шервашидзе в Сухуме. Письмо же оставил себе на память, а потом опубликовал в своей книге «Оригинал о портретистах» (М., 1922). В комментарии к нему говорилось: «После сей эпистолярной идеализации моей персоны легко понять, насколько “приукрашенным” я вышел из-под карандаша дорогого Александра Константиновича (карандаш ведь всегда мягче стального пера!)».

Портреты Евреинова в разное время исполнили В. Маяковский, Ю. Анненков... В 1914 году Василий

Каменский один из первых сделал набросок-шарж своего друга Николая Николаевича. Спустя год он получил заказ от Н. И. Бутковской написать «Книгу о Евреинове». Поэт отправился в Куоккалу, где встретился с режиссером. Осенью 1915 года в Финляндии Велимир Хлебников записал в свой дневник: «А Евреинов! Вы помните, его писал Бобышев – гладкие средневековые волосы, его знаменитый деревянный ворон и байеньки Каменского в исполнении толстой Блиновой – дикарки с очень теплым, пушистым взглядом».

В 1917 году в петроградском издательстве Н. И. Бутковской «Современное искусство» книга Каменского вышла в свет. Тогда же Евреинов писал ее автору в Тифлис: «Книга Ваша печатается. Обложка князя Шервашидзе».

К этому времени Николая Николаевича знал уже весь культурный мир России и Запада. Его нашумевшие трактаты по теории сценического искусства: «Нагота на сцене» (1911), «Театр, как таковой» (1913), «Театр для себя» (1916) – потрясли традиционные представления и открыли новые пути в развитии театра.

Василий Каменский создал небольшую, но восторженную «Книгу о Евреинове». Он писал:

«Зимой 1908–1909 годов В. Ф. Комиссаржевская пригласила режиссером Н. Евреинова вместо Мейерхольда в свой театр...

Весной 1909 года Н. Евреинов совместно с Ф. Комиссаржевским организовал в Петрограде “Веселый театр для пожилых детей”, где впервые шла его арлекинада “Веселая смерть”.

В этом же году Н. Евреинов отличился удивительной постановкой (“Ночные пляски” Ф. Сологуба), где он впервые воплотил идею наготы на сцене...

Истинный Робинзон театра и Колумб сегодняшнего “Театра для себя”, Король режиссеров, мудрый арлекин – любимец толпы, Н. Евреинов, зычной трубой созвавший нас на представление жизни и подаривший нам новое мерило ценности жизни...»

Вся книга выдержана в таком возвышенном тоне.

Весной 1917 года Каменский, по свидетельству Савватия Гинца, выступал с «лекциями-стихами» в Сухуме, Сочи, Новороссийске, Батуме, Поти и Кутаисе.

В его жизни все было необычным. Родился он на пароходе между двумя городами. Причем капитаном судна был его дед. В юности «из Крыма случайно попал в Турцию, потом в Персию». Работал актером у Мейерхольда; жить было негде – ночевал в похоронном бюро, сочиняя стихи «в сторублевом дубовом гробу». В 1905-м рабочими Нижнего Тагила избирается председателем забастовочного комитета. Он же один из первых русских летчиков. Он же одним из первых потерпел авиационную катастрофу. А парашюта тогда еще не было... Ему повезло – упал в болото в Польше.

Он же впервые сконструировал и испытал на реке Каме водяной автомобиль. Он же вместе с Д. Бурлюком, В. Маяковским, В. Хлебниковым, А. Крученых, Е. Гуро был зачинателем русского футуризма («будетляне»). Он же первым из писателей в 1917 году был выбран в Московский совет рабочих и солдатских депутатов. Он же – автор нашумевшего стихотворения о себе «Василий Каменский – Живой Памятник».

«Вы – своеобразнейший писатель», – скажет о нем А. М. Горький в 1926 году.

Еще раньше Василия Каменского заметил Николай Гумилев: «...Все, что он говорит, выходит естественно. Даже его бесчисленные неологизмы, подчас очень смелые, читатель понимает без труда и от всего цикла стихов уносит впечатление новизны, свежей и радостной».

Каменского называли «народным поэтом», а «голос» стихов сравнивали с посвистом Стеньки в Жигулях. В своих воспоминаниях «Великолепный очевидец» поэт Вадим Шершеневич с большой любовью и юмором писал:

«Энергия Каменского неистощима. Я помню, с каким жаром он занимался самыми пустяжными делами. Он сутки оклеивал кафе поэтов и повесил, как символ, на стену, вместо картины, свои старые дырявые штаны. Это было в 18–19 году. Штаны уже были редкостью, и надо сказать, что в первое время... мы зорко оберегали штаны, боясь, что посетители, вместе

с восторгом от наших стихов, унесут и Васины штаны. В конце концов, они действительно куда-то пропали».

Шершеневич очень верно подметил, что «если Каменский талантлив в своем творчестве, то в своей жизни он еще талантливее».

В годы Гражданской поэт становится культработником, в прифронтовой полосе Одессы попадает в плен и помещается в ялтинскую тюрьму. С приходом в Крым красных он освобождается из застенка и уезжает на Кавказ. В одной из автобиографий Василий Каменский отметил: «1920. Жил с Н. Н. Евреиновым в Сухуме, где написал пьесу “Паровозная обедня”, которая шла в Саратове и Баку, в рабочих театрах».

В Абхазии была весна. Местная газета «Наше слово» сообщала, что 16 марта 1920 года в сухумском театре «Алоизи» состоится «единственная весенняя гастроль – знаменитый поэт, главарь футуристов Василий Каменский в один вечер прочтет 2 лекции: 1. Как надо жить в Сухуме (солнечные экспрессы жизнетворчества). 2. Что такое футуризм (поэзия, музыка, театр, живопись)».

К этому выступлению был издан даже номер газеты, которая так и называлась – «Однодневная газета Василия Каменского». Она вышла под девизом «Искусство спасет мир» и вся посвящалась поэту. Как и во всех газетах, в ней была напечатана передовая статья, в которой говорилось:

«Справедливо принято думать, что самое скучное на свете – это передовая статья любой газеты, обычно похожая на слегка поскрипывающую деревянную ногу изящной молодой дамы.

Черт с ней – с этой деревянной ногой...

Пусть солнцeveющая воля каждого из нас окрылит наши измызганные в борьбе души до сотворческого отдыха на пляже новой жизни.

Барманзай.

Все забавно, пока талантливо.

Все талантливо, пока мудро и неожиданно.

Счастливая рука судьбы не устает трепать кудри морского прибора.

Жизнь – всегда весна.

И веснеянки на берегу ткут сеть Чуда».

Здесь же Каменский поместил стихотворение «Тост» и отрывок из словотворческой поэмы «Цувам-ма». А режиссер Евреинов, ликуя, писал «О Василье Каменском»:

«...Я не знаю другого поэта, от которого так разило бы юностью с ее улыбками, хохотом, прыжками, непосредственным подходом к труднейшим проблемам жизни, бесшабашностью, голубоглазием веры и песнями, песнями, песнями!..»

Не уступал Николаю Николаевичу и редактор журнала «Искусство» Борис Корнеев: «Радостный и бу-бенцовый как восходящее солнце, спешит он из горо-

да в город поведать людям простую и забытую правду, спешит их научить жить мудро и красиво... И вот поэт в Сухуме, и мы видим, что сейчас выступление Каменского желанно и что найдутся молодые души, которые восторженно встретят поэта здесь, у берегов Черного моря, поймут его светлый, экстазный призыв к радостям жизни и творческим взмахам».

В газете сообщалось, что во вторник, 16 марта, состоится «весеннее выступление Поэта. 2 торжественные лекции и артистическое исполнение своих стихов-песен». Билеты продавались «в чашке чая Паскунджи» на улице Свободы.

В разделе «Хроника» Каменский выступил в лучших традициях футуризма. Вот некоторые из его «напоминаний» перед выступлением:

«“Паскунджи” – чашка чая любезно отпускает кофе не только купившим билеты на Василия Каменского, но и думающим купить.

Н. Н. Евреинов – этот великий гость будет на лекции Вас. Каменского в ложе № 10.

Население Сухума – разместится уютно и беззаботно в театре “Алоизи” в день присутствия Н. Н. Евреинова на лекции Вас. Каменского 16 марта.

Г. Г. Айолло – не совсем верующий в футуризм, впервые уверует в его солнцевеющие крылья также 16 марта.

Редакция “Наше Слово” – нежно встретившая Поэта, не пожалеет чернильных ладоней для звучальных приветов...

Правление “САО” – намерено всерьез прослушать декреты Поэта Каменского с Парохода Современности.

Труппа “САО” – в полном составе будет ароматно улыбаться оратору, когда дело дойдет до футуросверхтеатра.

Артисты Цирка Гамкредидзе – являясь яркими друзьями Поэта – будут урывать моменты до и после своих талантливых номеров, чтобы услышать товарища.

Стенька Разин – эта нашумевшая пьеса Вас. Каменского – в отрывках-стихах будет исполнена автором.

Подношения и депутатии – желательны, но не обязательны.

Присутствуют на вечере 16 марта: бирюзовая бодрость, морская даль, вольность, здоровый Дух, творческая радость, трепетное желание талантливо жить в Сухуме и вообще и др. и др.

Несколько кораблей – будут сидеть важно на балконе...»

Спустя неделю после этого сенсационного выступления поэта, 22 марта, в том же театре «Алоизи» состоялся торжественный вечер, посвященный «Поэзии и театру». На нем выступили Н. Н. Евреинов с лекцией «Театр будущего (от кинемо до радиотеатра)» и В. В. Каменский с новыми стихами и чтением «Стеньки Разина». В программе вечера было представлено музыкальное сопровождение в исполнении Песковской-Жило, а София Труцова прочла стихи Каменского...

Над тихим Сухумом разрывался в тот день поэмой «Сердце народное – Стенька Разин» атаман Василий Васильевич. Публика ликовала. Каменский вдохновенно читал и время от времени оглушал зал своим «разбойничьим» свистом. Публика обрушивала на него ответный шквал невиданного свиста. «Не мандражь, Вася!» – кричала ему небольшая ватага в кепках. Зал гудел. Поэт хохотал, продолжая накручивать публику:

В дружину дружную
На переключку,
На лихо лишнее врагам!
Сарынь на кичку!
Бочонок с брагой
Мы разопьем
У трех костров...

«Разопьем, Вася!» – снова кричали кепки.

...И на приволье волжском вагой
Зарядим в грусть
У островов.
Сарынь на кичку!
Ядреный лапоть,
Чеши затылок у перса-пса...

«Вася! Это ты, собака!» – дружно вопили сухумские персы.

...Зачнем с низовья
Хватать, царапать
И шкуру драть –
Парчу с купца...

«Вася! С нас уже все содрали!» – жаловались сухумские купцы.

...Сарынь на кичку!
Кистень за пояс,
В башке зудит
Разгул до дна.
Свисти – глуши,
Зевай – раздайся,
Слепая стерва – не попадайся.
Вввва-а.

«Вася, стерва! Мы идем тебя бить», – кричали из зала.

«Не мандражь, Вася!» – отвечали кепки, вступая в потасовку.

Каменский, смеясь и огрызаясь, оставлял поле боя.



В октябре 1918 года в Сухум приехали главный художник-декоратор петроградских театров князь А. К. Шервашидзе (Чачба) и Н. И. Бутковская.* Чуть позже к ним присоединился Н. Н. Евреинов.

Скоро в Сухуме, по Инженерной улице, в доме Д. Арзамасова по инициативе Художественного содружества открылась драматическая студия. Практический курс основ драматического искусства вела артистка Старинного театра в Петрограде Н. И. Бутковская. Газета «Наше слово» сообщала, что занятия в студии начались 20 января 1919 года по программе: 1) развитие голоса и дыхания, 2) искусство выразительного чтения, 3) музыка в речи и движении, 4) развитие мимики и пластики, 5) грим, 6) импровизация, 7) изучение ролей, 8) задачи ансамбля.

Известный «мирискусник», друг Максимилиана Волошина и режиссера Николая Евреинова, Александр Константинович Шервашидзе мечтал в эти годы о духовном, культурном возрождении своего народа. Он был действительно «светлейшим князем» абхазского народа, как и его выдающийся брат, писатель Георгий Михайлович Шервашидзе.

* Огромный вклад в изучение «абхазского периода» (1918–1920) творческой и подвижнической деятельности этих ярких представителей культуры внесли искусствовед Б. М. Аджинджал, дочь художника Р. А. Шервашидзе (Чачба), видные абхазские ученые Г. А. Дзидзария, Х. С. Бгажба, В. П. Пачулиа и другие.

Александр Константинович поддерживал тесные отношения с абхазскими просветителями Д. И. Гулиа и М. Чочуа, сотрудничал с Н. Я. Марром, И. А. Орбели. В его записных книжках (1917–1919) представлена оригинальнейшая схема культурного обновления Абхазии. Он мечтает о театре под открытым небом на знаменитой поляне в селе Лыхны, о музее изящных искусств и национальной библиотеке в Сухуме, об Абхазском национальном музее, о создании научной и популярной истории Абхазии, о печатном деле, издании народных песен, заклинаний, сказаний, преданий, пословиц и поговорок... (Р. А. Шервашидзе-Чачба). Некоторые свои идеи А. К. Шервашидзе попытался осуществить уже в 1919 году. Так, 1 марта в Сухуме, в помещении женской гимназии, под его руководством была открыта художественная студия живописи и рисования.

Весной в Абхазию прибыл Н. Н. Евреинов. Режиссер принял активнейшее участие в Художественном содружестве. С 1919 по 1920 год он выступал в Сухуме с циклом лекций «Философия театра и теория сценического искусства». Первая его лекция состоялась в драматической студии 21 марта, а третья – «Театр будущего» – 12 апреля 1919 года.

Одна из лекций Николая Николаевича «О декораторе» была пересказана в газете «Наше слово» (1919, 15 июня). В корреспонденции говорилось:

«Лекции Н. Н. Евреинова имеют прелестную особенность – соединение больших теоретических знаний с богатым художественным опытом, которые лектор щедростью расточителя отдает слушателю.

Последнее десятилетие до войны в России отмечается значительными исканиями и плодотворными достижениями в разных областях искусства и, в частности, театра.

Н. Н. Евреинов несомненно один из самых смелых талантливых революционеров сценического искусства. Он не только порвал со старым, но создал новое, которое всегда прививается с трудом, с преодолением самых разнообразных препятствий.

Театр воздействует на зрителя наиболее полно, когда захватывает одинаково властно его внутренние эмоции и внешние восприятия.

Режиссер в живом взаимодействии с перевоплощающимся актером легко подчиняет себе внутренние переживания зрителя и заражает его. Здесь решающее влияние имеет и автор, замысел которого через живое слово и действие актера передается зрителю.

Гораздо труднее с внешним восприятием, если декоратор не проникнется творческим намерением автора и не заразится художественной трактовкой этих намерений у режиссера. Это под силу только декоратору-художнику. Но художник сам творец и, естественно, ярко индивидуален.

О значительных завоеваниях в этой области, о “пленительном лике современного декоратора”, о больших художниках кисти, давших так много нового искусству сцены в последние годы, о взаимоотношениях художника-режиссера и художника-декоратора, назревающих между ними конфликтах и возможных путях разрешения их – обо всем этом с обычным блеском говорил вчера своим слушателям Н. Н. Евреинов.

Лекция “О декораторе” была последней из цикла “Истории и теории сценического искусства”...

Жаль, что сухумцы лишаются этих интересных и талантливых бесед. Хотелось бы, чтоб “Содружество” доставило возможность публике еще не раз услышать этого просвещенного специалиста такого широкого размаха, что его специальность делается дорогой всякому культурному человеку».



Первые представления в Сухуме деятелей нового сценического искусства состоялись до приезда Евреинова. В театре «Алоизи» 25 февраля 1919 года был дан бал-маскарад («пародии, экспромты, шарж») и создана «редакционная коллегия ежеминутной газеты “Колючка” в составе Н. И. Бутковской, В. И. Стражева и А. К. Шервашидзе».

Спустя несколько месяцев в театре «Алоизи» с большим успехом прошел спектакль Козьмы Пруткина, поставленный «Н. Евреиновым, Н. Бутковской и А. Шервашидзе при участии сил “САО”»... Он проводился несколько раз в июне 1919 года «в пользу организации бесплатной детской площадки».

Об этом отдаленном времени и режиссере Евреинове в Сухуме хорошо помнит Е. Б. Захарова-Рафальская. «Он открыл студию, – пишет она, – где учились театральному искусству многие молодые сухумцы, в том числе Сусанна Гриц и ее брат Яша Халамейзеров. В Сухуме был убогий кружок любителей! Евреинов совершенно его преобразил. наших любителей нельзя было узнать. Вот тогда я поняла, что такое режиссер. Вместо убогих провинциальных декораций Евреинов впервые в Сухуме ввел условные декорации, например, полку с книгами просто стали рисовать на стене, вместо натуралистических декораций просто ставили щиты то ли из дерева, то ли из картона».

Сухумская пресса восторженно писала о постановках Евреинова и художественном оформлении спектаклей и костюмов Александром Шервашидзе. На сцене театра «Алоизи» шли пьесы Николая Николаевича – «Степик и Манюбочка», «Веселая смерть», «Школа этуалей», в которых были заняты актеры «САО»: Арзамасов, Мульман, Н. Захаров, Пищик, Жило... (см.: Р. А. Шервашидзе-Чачба).

Тогдашний председатель Сухумского артистического общества С. И. Мульман вспоминал в 1969 году:

«В прекрасный весенний день ко мне в директорский кабинет вошли четыре человека: известный драматург, режиссер Н. Н. Евреинов, артистка-педагог театрального искусства Бутковская (жена Шервашидзе), поэт В. Каменский и художник А. К. Шервашидзе. Пришли просить дать театр на 3–4 дня вместе с труппой. Беседа была короткая. Предъявленные условия их вполне устраивали. Договор был заключен. На следующий день была собрана вся труппа в 10 час. утра. Произошло знакомство с гостями. Выработан план работы и часы репетиций. После Евреинов, Бутковская и Шервашидзе познакомившись с амплуа артистов, распределили роли, приступили к чтению пьесы...

Ежедневно к 10 час. утра все были на местах. А. К. приходил к 9 часам, готовил сцену. Его постановка “Козьма Прутков” на абхазской сцене – это большой праздник в театре Сухума. Эти декорации, эта эмблема спектакля – сапог царя-палача Николая II, портал – носили эпохальный характер. Все было сделано его руками».

Тем временем Сергей Дягилев усиленно приглашал А. К. Шервашидзе в свой Русский балет. В 1920 году Александр Константинович вместе с Н. И. Бутковской выехал сначала в Англию, а затем во Францию. Судя по всему, у художника возникла конфликтная ситуация с властями «демократической

республики». Позднее Н. Н. Евреинов писал по этому поводу М. А. Волошину: «Александр Константинович бежал из Грузии от меньшевиков, теснивших его друзей абхазцев, ныне большевиков, причем его провожал в Батуме сам тов. Лакоба – нынешний Предсовнаркома Абхазии...» (см.: Б. М. Аджинджал. Р. А. Шервашидзе-Чачба).

Но в Абхазии не забывали А. К. Шервашидзе. В местной газете «Наше слово» под рубрикой «Из жизни русских эмигрантов» появилась в октябре 1920 года небольшая заметка. «Хорошо знакомые Сухуму издательница книг по искусству Н. И. Бутковская и художник кн. А. К. Шервашидзе организуют в Лондоне, – отмечалось в публикации, – при содействии известной издательской фирмы “Констабль” издание русских детских книг. Книги будут выходить одновременно на русском и английском языках. Кроме русских детских книг проектируется издание книг по кавказской культуре, литературе и искусству».

Итак, А. К. Шервашидзе и Н. И. Бутковская уехали. В Сухуме остались Н. Н. Евреинов, В. И. Стражев и В. В. Каменский.

Что ж, вернемся снова в 1920 год...

«Одnodневная газета Василия Каменского», вышедшая в марте, скандальное выступление поэта с чтением «Стеньки Разина» и лекция Евреинова о «театре будущего» оглушили Сухум.

Спустя две недели, 5 апреля, состоялся «диспут о театре», в котором приняли участие Д. В. Захаров (докладчик), Н. Н. Евреинов, М. Л. Томара, В. И. Стражев и другие. Николай Николаевич отметил: докладчик «слишком недостаточно изучил меня», «в театр пригласил художника первым не К. С. Станиславский (М. Добужинского), а я – Евреинов». По поводу диспута газета отмечала, что «только В. И. Стражев в немногих искренних, серьезно-теплых словах пытался подойти к театральной проблеме как таковой». Он говорил: «Кризис театра порождается характером эпохи – современность пришла на театральные подмостки с душой не драматической, а лирической, она искала красок интимных, затаенных, уходящих внутрь себя... Она искала не действия, не коллизии, а мягкой статики, которая не может выразиться в театре современности».

Через два дня, 7 апреля, по всему Сухуму было расклеено броское объявление (см. также Г. А. Дзидзария): «Приходите в гости ко мне в театр и Я, поэт Василий Каменский, в ярких и волнующе-острых красках расскажу вам истинные впечатления, как живут и работают Мастера Искусства (мои личные с ними встречи, приключения, переживания, творческая работа, веселый отдых). В великом хороводе знаменитых личностей перед вами промелькнет живая панорама расцветающего искусства, и вы узнаете о жизни в домашнем семейном кругу ваших учителей и любимых

творцов. Это будут Мастера: Репин, Шаляпин, Горький, Станиславский, Куприн, Андреев, Скрябин, Качалов, Рахманинов, Дункан, Евреинов, Маяковский, Д. Бурлюк, Прокофьев, Мейерхольд, Комиссаржевская, Блок, Северянин, Маринетти...»

Как всегда, поэт не забыл упомянуть, что «билеты заранее продаются в чашке чая “Паскунджи” по ул. Свободы».

Необычность вызывающих выступлений Каменского и Евреинова – «бунтарей искусства» – потрясла горожан. Чтобы предотвратить недоразумение, поэт-символист Виктор Стражев, друг выступавших и в то же время противник в эстетическом смысле, расклеил в городе свою контрафишу, выдержанную в духе «фуртуро-разбойников»:

«В Сухуме прошел целый ряд их выступлений!

О них говорят, говорят, говорят: судят вкривь и вкось. Ввиду исключительного брожения умов, а также в предупреждение острых эстетических заболеваний совершенно необходимо, чтобы

11 мая, во вторник, в театре Алоизи в 8½ часов вечера состоялась лекция В. И. Стражева “Кто они?”. Очевидно каждому, что речь будет о них – Н. Н. Евреинове и В. В. Каменском.

Наконец-то, первый раз в Европе и Азии, будет сказано о них беспристрастное слово. Все друзья

искусства и истины могут приобрести билеты на лекции предварительно в чашке чая “Паскунджи”...

После выступления Стражева газета «Наше слово» (1920, 14 мая) опубликовала краткое содержание его лекции.

«Н. Н. Евреинов – один из последних рыцарей отживающего индивидуализма, не приемлющего жизнь... Н. Н. Евреинов не ограничивается кругом театральных вопросов – он строит общее философское здание, основанное на театрализации жизни.

В его системе основным лозунгом является: “Надо жизнь не жить, а играть. Нужно призвать великих режиссеров, которые набросят на жизнь великолепные одежды, превратят ее в карнавал, в “фейерверк, в великую весну...”

Но не есть ли эта философия – философия гашиша, дающая утоление печалей всем, кто устал и не приемлет жизни?

Н. Н. Евреинов на берегу жизненного моря, в тихой бухте, мечтает о яркой сказке...

* * *

В. В. Каменский...

О, это нечто совсем другое! Если в Евреинове нечто от Оскара Уайльда, то в Каменском – нечто от корявого парня, наивного, как узор ситца, и ярко радостного, как мумач...

Детство В. Каменского – подлинное, шаловливое, не познающее самое себя детство с рядом выходов, напоминающих в исторической перспективе “сверчка” Пушкина, первого периода, знаменитый алый жилет Теофила Готье, эксцессы юных литературных течений новейшего времени.

Правда, в этих эксцессах не всегда можно различить, где кончается Каменский – антрепренер, рекламист, “американец”, циркач, – и где начинается поэт Василий Каменский... В. Каменский – весь в будущем, но и ныне он дает основание считать его большим поэтом в потенции...»

* * *

Таковы набросанные В. И. Стражевым силуэты двух рыцарей – рыцаря осеннего (ведь осень тоже любит золото и багрянец) индивидуализма и рыцаря весеннего расцвета и весенней... трескотни...

В этой лекции В. И. Стражев – закончим мы свою рецензию – был не Стражевым «американской» афиши, а тем Виктором Ивановичем Стражевым, каким мы привыкли ценить его – серьезным, талантливым, скромным.

Выступления друзей между тем продолжались. В театре Алоизи 19 мая 1920 года «во имя братского мира Грузии с Россией поэт Василий Каменский» прочитал лекцию «Правда о Советской России (Слово

вольного гражданина, прожившего 20 месяцев в Советской Республике)». В программу вошли: «Ленин. Троцкий. Луначарский. Зиновьев. Чичерин. Рабочие. Крестьяне. Интеллигенция. Максим Горький. Книги. Школы. Университеты. Пролеткульты. Студии. Театры. Худож. Коммуны. Борьба с голодом, холодом, спекуляцией, разрушением. Как жили в 1919 году в Москве, Петербурге, Казани, Ярославле, Ниж. Новгороде, Саратове, Перми, Харькове, Екатеринославе. Жажда мирной братской жизни».

Газета «Наше слово» (1920, 22 мая) сообщала об этой лекции: «Сочными и живыми мазками лектор набросал яркую и образную картину красного культурного строительства Советской России. Лекция, по существу очень содержательная и интересная, была прочитана В. В. Каменским с большим мастерством и ораторским подъемом и имела у многочисленной публики бурный успех».

Спустя два дня после этого выступления состоялся концерт. В нем приняли участие: исполнительница цыганских романсов Н. П. Филиповская, исполнительница деревенских частушек Л. М. Вельская, Иван Южный – свист, балерина Аделина Мирафлер и, наконец, В. В. Каменский – игра на гармонике и Н. Н. Евреинов – «музыкальные гримасы своего сочинения».

Каменский читал стихи, играл на гармошке и даже руководил «Абхазско-Грузинско-Русским хором» на

вечере 26 мая, посвященном «независимости Грузии». Он принимал в нем участие как гражданин Советской России.

Как известно, у Каменского множество словотворческих произведений. Вместе с В. Хлебниковым и А. Крученых он стремился разрушить привычный и создать новый поэтический – «самовитый язык». Так, один из его сборников называется «Звучаль веснеянки» (1918). Пройдет несколько лет, и Стражев создаст прекрасную пародию на словотворческие стихи Каменского. «Воспользовавшись временным отсутствием из Сухума известного поэта Василия Каменского, – писал он, – мы не совсем благовидным приемом добыли из незапертого письменного его стола ненапечатанное еще его стихотворение, посвященное Сухуму. Принося поэту наше извинение, льстим себя надеждой, что гнев обворованного поэта не будет продолжительным.

Звеня, звенит звенящая звенянка –
Сухумится Сухумка сквозь Сухум,
И облачко, небесная портянка,
Сушась на солнце, мчится наобум,
Я гол, как кол. Воткнувши ноги в гравий,
Торчу на пляже.
Гей! Га-га! Го-го!
И руку жму моей вселенской славе,

Причаливши к Сухуму на «Арго».
А вечером, на даче, на Чернявке,
Здравши ноги строю стихозвонь
И –
дрреннь! –
наяриваю на тальянке...
Э... эх! Ты! Каменского гармонь!
Мне ночью снится мой ядреный лапоть,
Прославленный от Крыма до Перми.
Ух! Поживем еще! Не будет капать
Над нами старость, черт возьми!
В Сухуме жить и молодо и жарко!
Стихов еще напишем сто томов!
Чок! Чок! Мы чокнемся еще веселой чаркой
С бессмертьем сорока веков!



В годы Гражданской войны в Абхазии хозяйничали меньшевики. Писатель и драматург Самсон Чанба вспоминал: «Однажды в маленькой, типографии Зайдшера, где мы печатали первую абхазскую газету “Апсны”, состоялась встреча поэта В. Каменского с группой редакционных работников газеты. В то время меньшевики распространяли всякого рода небылицы, чтобы ослабить популярность большевиков среди народных масс. В. Каменский рассказывал нам правду о

Советской России... За это он оказался в немилости у меньшевистских властей, его стали преследовать, и он вынужден был покинуть Абхазию» (см.: Х. С. Бгажба).

Перед отъездом в Москву поэт 5, 9 и 14 июня 1920 года выступал в театре Алоизи с чтением «Стеньки Разина». А газета «Наше слово» даже сообщала, что «Василий Каменский – полностью прочтет свою знаменитую пьесу, приобретенную советским правительством и непрерывно ныне идущую во всех театрах».

Как уже говорилось, Каменский написал в Абхазии «Паровозную обедню». Тогда же здесь появилась рецензия на пьесу («Наше слово», 1920, 29 июня). «В этом произведении, – говорилось в ней, – весьма интересном по замыслу, есть очень много характерного для современного поэтического творчества. В бурю искусство становится пророческим. Оно кует лишь символы, не заботясь о законченности их очертаний... Пьеса В. Каменского – гимн-символ, восторженное песнопение во имя социализма. Он избирает эмблемой грядущего паровоз, пожирающий дали, пронзающий своим пылающим глазом-фонарем все заповедные места старого мира... Паровоз – могучий и покорный, мощный и нервный, как конь, мчащийся по стальным иглам рельс, – вот великий вестник современности!»

Каменский служит радостную обедню и призывает «вращивать паровозы Духа».

Это была политическая пьеса в стихах, напоминающая поэзию агитационных плакатов и язык газет:

«дисциплина», «социальное строительство», «коллективизм»...

О Каменском первых лет революции и становления советской власти А. В. Луначарский писал: «Самая ценная служба поэта Октябрю была именно поэтическая служба. Он чрезвычайно много выступал на широких народных собраниях и украшал их своим узорным, летучим, звенящим словом. Он написал первую производственную пьесу – “Паровозную обедню”, он написал первую революционно-историческую пьесу “Разин”. Его сразу и сильно полюбили. Он стал известен и Владимиру Ильичу, которому его поэзия нравилась, хотя, как известно, вообще к “гражданам бюджетянам” Ленин относился критически, и даже у самого Маяковского ему нравилось немного».

Пьеса Каменского не оставила равнодушным и Виктора Стражева:

У моря, отслужив обедню паровозу,
В Мокрум Сухум он превратил плевком.
Из сердца вырвал он досаду, как занозу,
И поплыл вдаль, на шпалу сев верхом.

Он упоминает, как Василий Каменский – «Зевс Сатурнович» – выступал с гармошкой в доме Алоизи, в кинематографе и «в цилиндре, на коне, на цирковой арене Сухума». Стражев оставил прекрасный друже-

ский шарж в стихах – «Где моря Черного ритмические всплески» (1920) – о жизни двух «бунтарей» искусства в Генуэзском переулке.

В саду фруктовом дремлет белый домик,
А у крыльца в вихлявом гамаке
Лежит Евреинов. В руках – закрытый томик,
А мысли там, в там-тамном далеке.

Евреинов? Какой? Не тот он? – Да, тот самый.
Зачем он здесь? Затем, что здесь живет.
О, Господи! Но кто же текст всемирной драмы
Писал? Сам Дьявол? Гений? Идиот?

Бр! Бр! К чему сверхнетерпение, вопросы.
Вот факт: Сухум – Евреинов – гамак.
А жизнь... а жизнь... а жизнь... лишь дым от папиросы.
Кури. Курись. Там в вечности. И так:

Лежит Евреинов. И это факт всемерный –
Я утверждаю. Рядом факт иной –
И голый факт! – на пляже в раже лирной
Лежит Каменский, впитывая зной.

И ритм волны, и тт-трепет тт-тайного смущенья
Сухумской девушки, соседки на песке,
И светозарный пев в полете вдохновенья
Его баюкает в небесном гамаке.

Снаружи бронзовый, внутри – футур-советский,
В полдневный жар он гоголь-моголь ест,
По вечерам циркачет в резвости вседетской...
И вновь итак: из двух различных тест...

На лад эпический, превыше пирамиды
Я подвиги Каменского пою.
До Финских хладных скал из пламенной Колхиды,
Минуя Врангеля, несу я песнь мою.

Внимайте! Тсссс... – Где блузники из «САО»
Уселись крепко в закулисный мрак
(Не знаю лучшей к САО рифмы, чем «какао»,
Хотя бы нужно – «кофе» Арменак),

Где Мельпомене дал покойный Алоизи
Уют и угол, где однако же
Отменно много расплодилось всякой слизи
И музу ест анофелес уже.

Там, там поэт Каменский в первом выступленьи
Стяжал орлиный первый гонорар.
Сухуможители же в мутном утешеньи
Как будто впали в малярийный жар.

Но жизнепроза! О! Она подобна хине
И гонит жар восторгов, черт возьми!

Прошло немного дней – ты вопиял в пустыне,
Певец Цуваммы! И тогда без – ми-

молетного в душе своей сомненья даже
Пошел ты на Великий на Пролом,
И, лиру положив там, на приморском пляже,
Пошел с гармошкой в Алоизин дом...

Но в завершение этой песни у Стражева «лопнуло несколько струн – или от тоски по Каменском, или от чрезмерного напряжения» его вдохновения. Поэтому в честь Евреинова он сыграл «маленькую простенькую песенку на одной струне»:

Сидит у моря Арлекин.
О чем-то плачут струны.
Вдали бегут – валы годин...
И жизнь и море, Арлекин,
Ты знаешь? – вечно юны...

Каменский не раз поражал сухумскую публику своими трюкачествами. Так, в зале кинематографа «Олимпия» 24 июня с огромным успехом прошло музыкальное шоу «Кабарэ монстр» (балет, музыка, романсы, импровизация, характерные танцы, песенки, куплеты, рассказы, цирковые аттракционы). Каменский читал стихи, рассказы, циркачил, танцевал. Время от време-

ни «конференсье В. Каменский» выкрикивал: «Сенсация! На днях Н. Н. Евреинов со своими музыкальными гримасами».

На следующий день артистка Петроградского Троицкого театра О. С. Кадмина исполнила новые цыганские романсы, а Василий Каменский прочитал «лекцию для понимающих “Мой инструмент”».

Это были последние выступления поэта в Сухуме в 1920 году.

В июле Евреинов и Каменский покинули Абхазию. Перед отъездом они подарили Виктору Стражеву две фотографии – на одной из них Каменский и Евреинов вместе, на другой – выразительный портрет Николая Николаевича и надпись на обороте: «Дорогому Виктору Ивановичу Стражеву в знак любви к нему лично и к его таланту. Сухум 11/VII 920. Н. Евреинов».

Весной 1922 года Каменский вновь прибыл в Сухум. Абхазия стала советской республикой.

«В Сухум поеду осенью через границу... Обнимаю Вас сухумски-горячо», – сообщал 10 марта Каменскому Евреинов.

В этот период Василий Васильевич написал два своих известнейших стихотворения-«симфонии» – «Жонглер» и «Прибой в Сухуме», построенные на основе звукописи и внутренней энергии слова. Легкие и музыкальные, они

очень понравились Владимиру Маяковскому, который поместил их в журнале «Леф» (1923, № 1).

Диск. Блеск. Воск. Туск.
Цаммм.
.....
Сень. Синь. Сан. Сон.
Небесон. Чудесон.
Словолей соловей аловей.

Каменский жонглировал словами и звуками. «У каждой буквы, – говорил он, – своя судьба, своя песня, своя жизнь, свой цвет, свой характер, свой путь, свой запах, свое сердце, свое назначение».

Другое стихотворение – «Прибой в Сухуме» – посвятил Николаю Евреину:

...Берег – дом в Генуэзском.
Море – воздух – вино.
Будто память о детском.
Здесь живет Евреинов.
Пой в прибой,
Прибивай мудрокнижием.
Удивляй сценоближием.

Почти каждый вечер любимец сухумской публики Василий Васильевич выступал в местном цирке

и читал стихи на площади. А 18 апреля 1922 года состоялись два представления – днем грандиозный детский праздник с бесплатным катанием на лошадях, в котором участвовали и «все клоуны, рыжие, комики, наездники и японцы», а вечером по просьбе дирекции цирка выступил, как говорилось в афише, «гордость, краса и корифей русских футуристов Василий Каменский», устроивший аллегорическое шествие «Нато и Надия с участием «людей, зверей, животных и птиц». Часть от этого сбора поступила в пользу сухумской больничной кассы профсоюзов города.

Николай Евреинов рассказывал «сухумскому» Каменскому о «всероссийских» новостях. «Дорогой, родной мой Васинька, – писал он 30 мая 1922 года. – Новость: поэт Есенин женился на Айседоре Дункан и улетел с нею на аэроплане в Берлин. Вот это здорово!.. Вышел декрет о свободном (сравнительно) выезде за границу. Читал? Упорно собираемся в октябре отправиться в Берлин, Париж, Константинополь, Батум и Сухум... Новиков женился на Мельниковой, и они живут в Сухуме». Через несколько месяцев, 14 июля, он сообщил Каменскому печальную новость: «Умер В. Хлебников так же, как год тому назад брат Ю. Анненкова. Паралич ног и мочевого пузыря. Хворал один месяц. Боже, до чего же его жаль! – ты знаешь».

Каменский устраивал представления не только в цирке, кинематографе и театре. Неоднократно в 20-е

годы он устраивал в устье сухумской реки Беслетки зрелищные спектакли. О том, как они проходили, рассказал старожил города М. Д. Хахмигери: «Собралось не менее 20 парусников. Все они были разукрашены, расписаны красками. Вечерело. Набережную заполнял народ. Василий Каменский – “главный режиссер” готовящегося представления, достал в сухумском театре какие-то костюмы и вырядил в них своих людей. Они инсценировали отчаянную ватагу Стеньки Разина. Вооруженные саблями, ножами, с факелами в руках, на разноцветных лодках-остругах они медленно выплывали из устья реки в море. Это было яркое, запоминающееся театрализованное представление, неожиданное для всех. Во главе ватаги на первом паруснике плыл Каменский во всей красе одежд Стеньки Разина. Вечер наполнился звуками, светом факелов. А из глубины вечернего моря чьи-то голоса пели русскую народную песню о славном атамане:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны».

В этой связи следует напомнить меткую характеристику, данную Каменскому А. В. Луначарским: «Хотя им написано и опубликовано немало книг, но в сущности

он совсем не поэт-литератор: он вовсе не такой человек, который сидит у себя за столом, кусает кончик пера или копается его острием в чернильнице... Нет, Каменский творит большей частью с гармошкой в руках и напевавая... Василий Каменский – поэт из породы мастер-зингеров, на манер французских недавних шансонье.

В то время как Каменский бурно выступал в Сухуме, в Москве вышла книга Н. Н. Евреинова «Театрализация жизни. Поэт, театрализирующий жизнь» (1922). Этим поэтом был Василий Васильевич – автор вышедшей пять лет назад «Книги о Евреинове». В своем блестящем, умном труде Николай Николаевич впервые сказал об «идентичности Каменского в жизни и Каменского в его произведениях». Режиссер, как проповедник философии театрализации жизни, видел в нем прямого последователя. Если не больше. Он буквально «списал» у Каменского свой трактат – «его поэзия является отображением его жизни точно так же, как его жизнь является отображением поэзии».

Евреинов писал по этому поводу: «Быть может, на ваших устах заиграет вопрос: “Ну так что же? Это так естественно! так оно и должно быть! так оно и бывает обыкновенно!” К сожалению, история нас учит другому. Она говорит нам в целом ряде биографических данных, что произведения писателя – это одно, а жизнь его, по большей части, – совсем другое.

Она говорит нам, что можно проповедовать честность в отличнейшем трактате о нравственности и

вместе с тем брать взятки, без зазрения совести, как это делал знаменитый Бекон Веруламский! Можно прославлять добро в отношении всего сущего и в то же время с наслаждением отрывать крылышки у мух, исключительно забавы ради, как это склонен был “практиковать” гуманнейший из гуманистов – Спиноза; можно проповедовать мораль и на сотнях страниц апологизировать сострадание, будучи, однако, безжалостным в жизни настолько, чтобы смочь, например, сбросить с лестницы не угодившую в чем-то служанку – случай из многих других, отнюдь не украшающий биографию Шопенгауэра!

А что сказать о Вольтере, либерализм которого и неприязнь к дворянству на бумаге совмещались с мечтой о титуле хотя бы баронета в жизни.

Что сказать о Фридрихе Ницше с его проповедью... и вместе с тем ни разу в жизни не нарушившем кодекс морали, столь пламенно отрицаемой! Как понять Карамзина, проливающего горячие слезы над своей “Бедной Лизой” и в то же время, между двумя главами этой повести, строго требовавшего от старосты, чтобы нещадно секли кликуш, нарушавших чин богослужения в церкви!..

Василий Каменский – одно из немногих исключений на страницах истории, сохранившей нам имена Диогена, Франциска Ассизского, Жана Гаспара Дебюрэ и Льва Толстого как примеры идентичности творца и человека.

Правда, сам Василий Каменский различает в себе две ипостаси, два лица, два “Я”, утверждая, что он как поэт – тропическое растение, а как человек – земля.

Но я, давно зная его, беру на себя смелость утверждать, что это различие скорей эфемерно, чем действительно, и что в этом тропическом растении столько земли, а в земле столько тропического, что между той и другой ипостасью может быть твердым почерком поставлен знак равенства».

Евреинов продолжал:

«У Каменского (ученого агронома) чудесное имение в Пермской губернии “Каменка”, но там нет даже намека на письменный стол.

Его “Землянка” написана на верхушке сосны! “Девушки босиком” – на асфальтовой крыше! “Стенька Разин” создан в дремучем лесу и писался на березовой коре, стружках, осиновых листьях, носовых платках, лоскуточках материи, на полях газет, словом, на первом попавшемся под руку материале, так как переписать “Стеньку Разина” было трудно поэту, заплатившему дань авиации, если не жизнью, то несносным дрожанием рук...

Поэт хочет жить “вольнотворчески”, как выражается Каменский, и потому ему нет дела и не может быть дела до всего того, что установлено, как обязательная норма...

Жить для него значит творить и творить прежде всего самую жизнь. Вот почему Каменский неоднократно бросал надолго свои сочинения, отдавая всеце-

ло свои театрально-поэтические силы жизни и только жизни.

Вот уже несколько лет как любимой темой его лекций служит как раз “уменье жить” в том или другом городе, в том или другом местечке нашей обширной планеты. “Как надо жить в Боржоме”, “Как надо жить в Сухуме”, “Как надо жить в Баку” – вот названия его всегда многолюдных последних лекций, на которых мне пришлось присутствовать! И в каждой из них поэт проповедует жизнь, чуждую нездоровых условностей, стеснений, скуки филистерства, жизнь, полную радостного сознания своего подсолнечного бытия, полную творчества, перекрашивающего в яркие цвета не только дома, но и целые улицы! Жизнь, полную великого размаха во имя новой красоты!..

Ведь “счастье жизни”, по словам Каменского, – это разинуть рот с утра.

Днем сто раз
Перевернуться
Через голову.
Вечером скакать
В костер.
А ночью
Ловить
За хвост кометы».

2. «На даче светлой Ю»

Сухум-Кале, «генуэзский глухой переулок» у подножия замка Баграта... Где-то здесь останавливались Николай Евреинов и Василий Каменский.

В рукописном стихотворении поэта «Сухум» (1923), посвященном, как всегда, Николаю Николаевичу, есть строчки:

Я и Евреинов
 Без раздумий
 Живем в Генуэзском переулке
 В Сухуме.

Оба – друзья наобум –
 Любим Сухум
 Эльбрусно,
 Принимаем ванны,
 Работаем, кушаем вкусно
 У нашей Марины Ивановны.

Кто она, Марина Ивановна, так часто упоминаемая не только в стихах, но и в письмах тех лет?

В 1986 году с помощью дочери художника Русуданы Александровны Шервашидзе-Чачба и молодого лингвиста Вячеслава Чирикба удалось отыскать заветный домик в «Генуэзском переулке», в котором жила

Марина Ивановна Гравель с мужем Владимиром Веняминовичем Киссенем (Киссин, Кисин) и дочерью Юлией.

Юлия Владимировна Киссен (по мужу Уридия) живет сейчас в Очамчире, работает преподавателем в музыкальной школе. Из ее рассказов и других воспоминаний стало известно, что первой переехала в Сухум и поселилась в «Генуэзском переулке» (1917 или 1918 год) родная сестра ее матери Юлия Ивановна Гравель (по мужу Давыдова). Она была воспитанницей Н. Н. Евреинова, занималась в его петербургской студии актерского мастерства, но вскоре тяжело заболела. Врачи советовали ехать на юг. С этой целью Николай Николаевич прибыл в Сухум и купил для Юлии Ивановны небольшой дом-дачу в тихом переулке у моря, которому он тут же и присвоил романтическое имя – «Генуэзский».

В 1919 году к Юлии из родного литовского городка Паневежиса приехала ее младшая 19-летняя сестра Марина. В Сухуме она познакомилась с выходцем из Польши Владимиром (Волей) Киссенем. В чужом, незнакомом городе их сблизил польский язык и любовь к искусству. Киссен в то время работал музыкантом в местном цирке.

Юлия Ивановна умерла от туберкулеза в двадцать первом году. Николай Николаевич очень любил ее и тяжело пережил случившееся. Долгое время, вплоть до середины 50-х годов, в «генуэзском» доме хранился

прекрасный графический портрет Юлии Гравель, выполненный Давидом Бурлюком, а также рисунки и картины Василия Каменского. Все это исчезло после продажи дома.

И все же крупица уникального семейного архива осталась. Несколько писем, книги и фотографии 20-х годов сохранила после смерти матери Юлия Владимировна Гравель-Уридия. Она, кстати, родилась в 1923 году в «Генуэзском переулке», крестным отцом ее стал Н. Н. Евреинов, а назвали девочку в память о Юлии Ивановне Гравель.

На одной из этих фотографий, отснятой (1923) в саду на фоне белого дома, – Николай Евреинов и его жена Анна Кашина сидят в гамаке, а за ними стоят – Марина Ивановна с кошкой на руках, Владимир Киссен, Василий Каменский, взбивающий в супнике свой любимый гоголь-моголь из двенадцати-тринадцати яиц, петроградская актриса Вера Бутурлина-Ландау и Ефим Натанович Канцельмахер с женой.

Сохранилась и книга: Н. Евреинов. Самое главное. Для кого комедия, а для кого и драма в 4-х действиях. – Ревель, 1921.

Типографским шрифтом в книге набрано: «Посвящаю эту пьесу светлой памяти Юлии Ивановны Давыдовой (р. Гравель), научившей меня Добру. Н. Евреинов».

А на титульном листе автограф: «Дорогому Владимиру Веняминовичу Киссен – на добрую память от признательного друга Н. Евреинова. 8 IV – 922».

Не остался в долгу и Василий Каменский. В московском архиве литературы и искусства мною было обнаружено прекрасное музыкальное стихотворение «На даче светлой Ю», написанное поэтом в память о Юлии Гравель. Привожу полностью это словотворческое произведение:

Я буду вспоминать Айю –
Сухумскую зеленту,
Когда на даче светлой Ю –
Я проводил Жиленту.

В расцвет апреля розолей
Приехал морем взмайно
На шхуне с парусом сонлей,
Пристал весной пристайно.

На белой даче светлой Ю –
Ушедшей в рай Нирванны –
Я память утреннюю пью –
Зарейные зоранны.

Заря в цветах. Взывал лучар
Лучистыми циами.

Звенел залетный день зовчар
Разметными зайями.

Встающий рано – видел леснь,
Цвели ниан-африсы,
Перед моим окном в небеснь
Взбегали кипарисы.

Хотелось с птицами Айю
Пьянеть в поэмах зорче,
На белой даче светлой Ю
Казалась жизнь короче.

И мудрость сердная лиар
Лилась лилей в лиамму.
У моря синий волнояр
Прибойно звал в Цувамму.

Я выходил на берег взой
В просторность бирюзами,
Я растворялся в горизой
Под солнцем озоналий.

Цвела душа айли-айлин
Чаруйной изумрудью,
А волны стаями лейлин
Цвели извечной будью.

Витала грань на рейде рей
Астральной укачалю,
Меж сном и жизнью фриорей
Сияла мысль звенчалю.

Крылились дни в Сухум-Кале
В работе словелений,
И мнились книги на скале
Грядущих згамб и длений.

Я буду вспоминать Айю
И корабли из арса,
Когда на даче светлой Ю
С Евреиновым жил Цамарса.

Загайра майя има-звень
Пускай звенит брианта,
Я слышал в мире веснецвель
В Сухуме мореанта.

И понял я поэму зорн
Упорных цимбальонов,
Магнолий – яблонь пальлюзорн,
Триолей триллионов.

Юлия Владимировна слушает, эти стихи и показывает фотографии удивительной «Ю»...



Еще в двадцатом году Евреинов выступал в Сухуме с «Музыкальными гримасами».

От них покатывалась не только кавказская публика, но и петроградские поэты, писатели, художники.

В московском альманахе «Возрождение» (1923) появились «воспоминания» молодого Михаила Булгакова «Записки на манжетах».

«Евреинов приехал, – пишет он. – В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется: уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы оключениях...

А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впились глазами.

Евреинов находчивый человек...

– А вот “Музыкальные гримасы...”

И, немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояле, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и златом и, наконец, полька.

Через десять минут цех был приведен в состояние полной негодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...

...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гри-мас!...»

Уехал. Куда? Опять в Сухум или за границу? Жена Николая Николаевича Анна Евреинова-Кашина сообщила, что ноябрь – декабрь 1922 года они были в Германии и во Франции, а весной следующего года четыре месяца провели в Сухуме и Тифлисе. «Я уже 2 недели как из Парижа, – писал 5 февраля 1923 года Евреинов Каменскому. – Почему ты не поехал с нами?.. Определенно и безоговорочно в начале апреля едем в Сухум. Итак – снова вместе!!! Уррррра!.. Я по тебе как собака соскучился... Моя комната в Сухуме будет, где столовая, так как у Марины жильцы (она пишет) и вообще, может быть, в другом месте устроимся. Это все равно! Лишь бы поближе друг к другу и к морю!..»

В апреле они остановились «на даче светлой Ю». Марина Ивановна сумела пристроить всю компанию: Николая Николаевича с женой Анной, актрису Веру Бутурлину-Ландау и Василия Каменского. Газета «Голос

трудовой Абхазии» (1923, 16 мая) сообщала: «Кто помнит эту талантливую, живую и страстно-кипучую натуру, одарившую Сухум в прошлый свой приезд рядом поистине художественных постановок и бесед, полных интереса, тот порадуетя вторичной возможностью видеть у нас Н. Н. Евреинова».

В этот приезд и родилось большое стихотворение «Сухум». Поэт начинал его так:

Апрель. Восемь утра.
После чаю,
Свой кэйстэн закурив,
Иду на берег. Тут рай.
Я здесь венчаю
Словотворческий радий
Струнный гриф
Толстой тетради
Стихами,
Легендами,
Драмами.
Воображая получить за это
Деньгами,
Рентами,
Дамами
(В виде сердечного успеха).

Форма стихов свободна. Живописные декорации города и его колорит – белые корабли на рейде, «знаменитый сухумский табак», иностранцы, «лезгинка и

тустэй», цирк и турецкие кофейни, каленые орехи на набережной – все привлекает внимание Каменского!

«Не город Сухум, а фантазия – мандариновая Абхазия», – припевает он от счастья.

Издалека доносятся песни
Востока.
Это абхазцы поют
В духане,
Припав у истока,

И я слышу в их песнях
Шум моря и ветра,
Шорох листьев и крыльев
В вершинных небеснях...

Поэт вспоминает Диоскурию, погребенную волнами, бродит по прибрежным холмам. Пейзаж пробуждает в нем лирический юмор, доброту, искренность, и он пишет картинки сухумской жизни.

Тишина.
Вижу, как в изумрудную пору,
Будто паломники,
Белые, стройные домики
Подымаются в гору.
Выше на,

Может быть, на облака –
Там молоко лакать,
Закусывать лазурью.
Здесь даже в бурю –
Тишина.

И только лишь с московской дурью
Не может справиться весна...

.....

С окраины,
Где мы живем приклеяные,
Мне делать нечего,
И я бреду тихонько
Каждым вечером
В турецкие кофейные.
Там – на Садовой
Всяческие гости
Сидят за столиками
Пьют, курят
И бесконечно снова
Играют в кости.
Абхазцы, турки, греки!
Русские, мингрелы,
Армяне и грузины.
.....
Накупив газет, отменно

Турецкого напившись кофе,
Я иду обыкновенно в цирк.
Там, жуя рахат-лукум,
Можно видеть
Весь Сухум.

А потом,
Пробираясь домой,
Меж эвкалиптов,
Пальм, кипарисов
И бесконечных цветов,
Я чую, как мной
Много выпито
Виноградных тифлисов,
Здоровья сухумских соков –
Коробá, коробá!

Навстречу скрипя,
Тарахтит арба,
Запряженная буйволами.
Их погоняет абхазец-старик,
Издавая гортанный, орлиный,
Природный свой крик:
Эрхчль...
Дорога длинна.

Низко звезды висят.
Горы – гигантские буйволы –
Спят. Молодая луна.
Облака, будто стая гусят,
Над морем плывут.
Всюду покой ароматный.
Тепло и уют...

В ночной тишине
Голос жуток и гулок.
Скоро дом – Наш приюттик.
Генуэзский глухой переулок.
Чу! Встречает меня
Лаем дружеским Бутик.
Полон всяческих дум
(Наблюденья, проекты, заветы),
Засыпаю,
И со мной засыпает Сухум,
Читая газеты.

А рано утром слышу:
Кто-то мне принес
Букет пунцовых роз
И бросил
На серебряную крышу...
Кто?
Вопрос...
Солнечная блажь

Зовет опять идти
На черноморский пляж.
Иду. Ду-ду.
Ташу с собою пса.
Там в жидкой бирюзе
Опять купаться буду,
Стихи писать
Для золотых друзей.

Я и Евреинов –
Мы живем неущербно.
Нам моревейно,
Нам сухумски-волшебнo.

Скоро в Сухуме, в 1-м гостеатре, состоялся вечер секции работников печати. На нем 28 мая 1923 года выступили Н. Евреинов с лекцией «Вот что делается в Париже» и В. Каменский – «Вот что делается в Москве». Ко дню печати газета «Голос трудовой Абхазии» опубликовала стихотворение поэта «Именины буквы».

Тогда же группа сухумских артистов взялась за постановку пьесы Каменского «Гений случая». Как сообщалось: «“Гений случая” модернизированная, крайне многообещающая пьеса из негритянской жизни... В пьесе отсутствуют обычные декорации и уже заставляются новые. Предполагается чистый сбор со спектакля передать в фонд создания Красного Воздушного Флота».

О пребывании в Сухуме в 1923 году Евреинова, Каменского, Анны Евреиновой-Кашиной сохранилось мало документов. Среди них серия фотографий, сделанных на берегу моря и «на даче светлой Ю», в доме Марины Ивановны Гравель-Киссен, или, как любил говорить Каменский о ее муже, «просто Кисин».



О море.

Море во все времена привлекало поэтов, художников. Оно открывало как бы «второе дыхание». Освежало. Освобождало. Очищало. (Тогда еще море было чистое.)

В переломные времена люди инстинктивно бежали к воде, к морю зализывать рваные раны.

Поэты старались его понять, приблизить, приласкать. Описать «изнутри».

Так, Каменский пытался понять время и море на сухумском берегу:

Берег – красная цель.
 Море братство вравне.
 Наша жизнь – карусель
 В Кумачовой стране.
 Пой в приборой.
 Прибивай разудалое

Зная буйное алое.
Передай миру амбра.
Моревун морегамбра.
Ббахх и ашрр.
И шшай –
Шам-м –
Шш-ш.

Пытался не только Каменский, пытались многие.
Но по-настоящему почувствовал море только его друг,
Велимир Хлебников. В поэме «Уструг Разина» Хлебни-
ков сам стал морем, перевоплотился в него.

Вслушаемся в дыхание волн.

Где море бьется диким неуком,
Ломая разума дела,
Ему рыдать и грезить не о ком,
Оно морские удила
Соленой пеной покрывая,
Грызет узду людей езды.
Так девушка времен Мамая,
С укором к небу подымая
Свои глаза большой воды,
Вдруг спросит нараспев отца:
«На что изволит гневаться?»

Ужель она тому причина,
Что меч суровый в ножны сует,
Что гневная морщина
Его лицо сурово полосует,
Согнав улыбку, точно хлам,
Лик разделивши пополам?»
По затону трех покойников,
Где лишь лебеда лучи,
Вышел парусник разбойников
Иступить свои мечи.

Кажется, что эти стихи пролились на бумагу из моря.

Море вошло в берега поэта, сделало Хлебникова своей частицей. Это уже стихи не Хлебникова, а стихи моря.

Здесь каждая строчка – волна, а страница, заполненная ими, – море. Волны разные – большие, средние, малые. Их даже можно сосчитать.

Только по одному страшному имени Мамай можно представить, какая это грозная и беспощадная, четвертая волна.

Она начинает расти вдали от берега, но в ней уже скрыта сокрушительная сила – «Так девушка времен Мамая...». Она стремительно нарастает: «С укором к небу подымая...» И вот у самого берега волна так высо-

ка и беспомощна, что ей тесно в выси. Она выбросила в изгубе последние свои капли в надежде превзойти себя и не разбиться. Она остановилась на миг, лицом касаясь неба – «Свои глаза большой воды», и с грохотом бьет в берег: «Вдруг спросит нараспев отца».

Вода тяжела. Она долго откатывается назад с лязгом и скрежетом, разрушая новые волны. Берег бурлит и пенится, пока шторм не умирает в тишине.

По затону трех покойников,
Где лишь лебеда лучи,
Вышел парусник разбойников
Иступить свои мечи.

Возможно, эти стихи «Уструга Разина» (1922) имел в виду Велимир: Хлебников, когда писал в своих «Записках из прошлого»: «Я и море – мы соединили свои голоса, и я пропел Разина, может быть, первый на этом берегу, шагая по пятнам камней».

Море омывало Хлебникова и Каменского. Они разъединили свои голоса и пропели Разина.



Что сделал Василий Каменский, когда приехал в 1920 году в Сухум?

Первым делом он выпустил свою «однодневную газету» и напечатал отрывок стихотворения «На Великий Пролом». Чтобы быть ближе сухумцам, Каменский из уральского орла (было: «Я разлетелся Уральским орлом») срочно перерядился в кавказского (стало: «Я разлетелся Кавказским орлом»).

Бурной энергии Каменского, его неожиданным выдумкам в Сухуме не переставал удивляться его земляк Виктор Стражев. В 20-х годах он посвятил Василию Васильевичу шуточное стихотворение «Между прочим и негромко».

И вот несколько лет назад я оказался на родине поэтов в Перми. Совершенно неожиданно мне посчастливилось обнаружить в областном архиве ценные документы. После смерти известного исследователя жизни и творчества В. В. Каменского литературоведа Савватия Гинца они составили его личный фонд.

В нем, в частности, сохранились письма Анны Кашиной-Евреиновой, фотографии и воспоминания, связанные с пребыванием в 1923 году на Кавказе Василия Каменского и Николая Евреинова. «Мой покойный муж Н. Н. Евреинов и я были очень дружны

с Васей, и после моего выхода замуж за Евреинова (в 1921 году) Вася всегда останавливался на моей квартире (девичьей) на Невском, – сообщала А. Кашина-Евреинова С. Гинцу 15 ноября 1969 года в письме из Парижа. – Мы вместе жили в Сухуме в 1923-м и т. д.».

В другом письме (Париж, 30 ноября 1969 года) Анна Кашина-Евреинова прислала С. Гинцу две фотографии с автографами на обороте: 1) «Сухум, 1923, Евреинов – рядом, выше В. В. Каменский, а еще выше – друзья»; 2) «Сухум. Мы трое на пляже в день моего рождения 30 мая 1923 года».

В письме говорилось: «Я Васю знала хорошо, была с ним на ты. Жили мы вместе в Сухуме.., ездили в Тифлис... Он написал “Книгу о Евреинове”, где выражена вся его любовь к мужу. Меня, я думаю, он тоже любил. Вкладываю в письмо фотокопию с нашей карточки в Сухуме, где мы прожили три месяца в одном доме и вместе путешествовали в Тифлис... Жили мы недели две в Тифлисе».

Подробно обо всем этом она написала в своих воспоминаниях, которые и сохранились в Пермском архиве. Савватий Михайлович Гинц опубликовать их так и не успел...

Привожу этот материал почти в полном объеме.

Анна Кашина-Евреинова

Воспоминания о В. В. Каменском

...Две эти тени проходят нераздельно через весь пустынный парк воспоминаний: Василий Васильевич и мой муж Николай Николаевич Евреинов, о котором Каменский написал целую книгу.

Познакомилась я с Каменским тоже только после моего выхода замуж за Евреинова (июль 1921 года) в Петрограде.

Как-то утром, разбирая почту, муж спросил меня:

– Приезжает из Москвы мой друг поэт Каменский.

Как ты думаешь, нельзя ли ему поселиться на несколько дней у твоих сестер, в бывшей твоей квартире?

– Конечно, можно. Ведь там несколько пустых комнат. Я сейчас же позвоню сестре Кате.

Василий Васильевич приехал вскоре и был счастлив найти хорошую светлую комнату в прекрасной буржуазной квартире на Невском.

Мое первое впечатление от него? – русский паренек, светловолосый, курчавый, голубоглазый, рослый, стройный. Мне он показался уже пожилым. Васе было лет 35, а мне едва перевалило за 20, но неизменная крестьянская гармошка, сопровождавшая его повсюду, сильно его молодила и придавала какой-то совершенно особенный акцент его личности.

Почти с самого начала нашего знакомства началась и наша дружба. Виделись мы каждый день. Вася столовался у нас. Очень скоро я, как и муж, перешла с ним «на ты». Помню, что Вася старался в это время устроить свою пьесу «Здесь славят разум» в театре «Вольная комедия», где уже давно и с огромным успехом шло «Самое Главное» мужа.

Во время этого же, как помнится, сравнительно недолгого пребывания Васи в Петрограде мы надумали вместе поехать на Кавказ. Муж так хотел показать мне свой любимый Сухум.

Наша поездка действительно состоялась, но лишь весной 1923 года, а до этого мы с мужем успели побывать за границей – в Берлине и Париже.

Но до нашей сухумской, вернее, кавказской одиссеи у меня была недолгая, но очень памятная встреча с Васей в Москве в театральный сезон 1921–1922 годов, в которой Вася играл очень значительную роль...

После таировского спектакля Вася познакомил меня с Маяковским и мы втроем отправились ужинать в каком-то подвальчике. До этого я видела Маяковского всего один раз в 1920 году в петербургском Доме Искусств, где он читал свои «150 000» и «Солнце в гостях у Маяковского». Насколько в Петербурге он произвел на меня впечатление чего-то огромного, глыбного, давящего, изрыгающего слова, настолько в ту ночь – а мы провели вместе несколько часов, гуляя

после ужина по московским улицам, – у меня осталось от него впечатление человека потерянного, несчастного, чем-то подавленного. Поэтому впоследствии я мало удивилась его самоубийству.

* * *

Съехались мы с Васей уже в Абхазии, в любимом мужем Сухуме, и, как помню, в самом начале марта и прожили вместе три месяца, до самого отъезда в Тифлис. Поселились мы у Марины, сестры воспитанницы мужа Юлии Ивановны Гравель-Давыдовой, жившей и умершей на Кавказе. Домик Марине достался в наследство после покойной сестры. В декабре прошлого (1970) года я вновь побывала в Сухуме и дала себе труд пройти к нашему тогдашнему обиталищу. В 1923 году дом стоял вне черты города, но сейчас город вырос и домик стал горожанином. Он нынче сильно обветшал, густо заселен несколькими семьями и весь как-то потускнел. Но он мне напомнил столь многое, многое.

Из Питера с нами увязалась моя подруга по Александрийскому театру Вера Ландау (по сцене Бутурлина). Была она милым человеком, хорошим товарищем, но был у нее и большой недостаток: кто-то когда-то сказал ей, что она похожа на Врубелевского ангела, и это погубило ее. Говорит мило, просто, хохочет, «как все», и вдруг спохватится, что она Врубелевский ангел,

и начнет принимать соответствующие позы и вращать своими красивыми глазами. Вася сразу же обозвал ее «мещанкой», хотя под конец нашего пребывания пытался, и не без успеха, продать ей свои произведения и «прихватить в долг без отдачи». А это он умел. У Веры же был богатенький муж, снабдивший ее широко червонцами.

Но в общем жили мы дружно и весело. Ежедневно жарились по несколько часов на пляже. Хорошо ели сытную литовскую кухню Марины (она была литовкой). На этом поприще Вася побивал все рекорды: раз он съел гоголь-моголь из 12 яиц! И ничего.

Вечерами часто читали вслух. Вася играл на гармошке, Евреинов на гребенке. Оба они были виртуозами, каждый на своем нехитром инструменте. Мы с Верой лепетали стихи Ахматовой, нашего идола той эпохи. Если было не слишком жарко, ходили в далекие прогулки в горы или вдоль побережья. В те времена Сухум был еще настоящей экзотической страной: с гор спускались дикие всадники в черкесках и бурках, с лицами, закутанными в башлыки, несмотря на жару. Все это теперь ушло, а жаль... Быт стал совсем другим.

Особенно четко в памяти остался один эпизод из этого периода нашей жизни: рядом с нашим домом был дом директора реального училища Адамия и его жены, тоже учительницы. Милая интеллигентная семья, с которой мы познакомились и иногда виделись вечерами.

Вдруг происходит большое событие: к ним приезжает их беременная дочь, вышедшая замуж за сванетского князя. Оказалось, что она уже два раза была беременной и оба раза ребенок умирал в преждевременных родах*. На этот раз ее муж решил привезти ее задолго до родов в Сухум и поместить в клинику. Надо добавить, что сообщение со сванетским плоскогорьем в те времена без вертолетов было возможно только верхом и в продолжении двух лишь месяцев, когда оттаивали снега на перевалах.

Пришло время родов. Все мы ждали с нетерпением этого события. И вдруг как-то утром Марина, ходившая за молоком, со слезами сообщает:

– Умерли оба, и ребенок, и мать.

Мы все страшно огорчились за бедных Адамиа. Решили идти с сочувственным визитом к несчастным родителям и совершенно убитому мужу.

А в это время из дома Адамиа все время неслись раздирающие крики и причитания плакальщиц-визитерок.

Набравшись мужества, отправились под вечер все вместе с визитом к несчастным родителям.

Войдя в дом, мы даже не узнали их уютной квартиры: вся мебель была вынесена. Мадам Адамиа – обычно очень сдержанная, европейски воспитанная

* Автор воспоминаний ошибочно связывает этот трагический случай с семьей Адамиа. – С. Л.

дама – сидела на полу в углу комнаты, в каком-то необычном наряде с распущенными волосами, и ее окружали столь же необычно костюмированные женщины, соседки и приятельницы. Увидя нас, вошедших с испуганными лицами, они все снова запричитали, завывали, заливаясь слезами. И мы все четверо, как это ни странно, тоже вдруг начали плакать, хотя видели покойницу раза два, да и то мельком.

Наконец Вася не выдержал, дернул меня за руку и прошептал:

– Пойдем вон отсюда, а то бог знает до чего доревешься!

И мы вышли. Отец Адамиа, более сдержанный в выражении горя – вежливо поблагодарил нас за визит и пригласил нас прийти ночью на проводы зятя. Он увозил трупы жены и сына хоронить в родной Сванетии, как ему велел обычай.

Эти проводы остались в моей памяти как одно из самых необычных видений.

Два гроба привязаны на одну лошадь, на другой ехал сам князь, – муж и отец покойных. Мы все шли сзади гуськом. Плакальщицы причитали, не переставая. И все это на фоне лунного пейзажа диких гор и тропической растительности.

Наконец, поднявшись уже в гору, процессия остановилась. Князь слез с лошади. Перецеловался со всеми. Вновь сел на коня и, плотно закутавшись в бурку,

двинулся в путь, ведя на поводу лошадь, нагруженную гробами. Так он будет ехать много, много часов...

Вернувшись домой, возбужденные всем виденным, мы долго не могли успокоиться, обсуждая событие. И пришли к заключению: Кавказ – это совсем не Европа.

Еще одним из любимых развлечений мужа и Васи было частое посещение цирка. Волька, Маринин муж, играл в цирке на трубе, и потому доступ туда для нас был бесплатным. Мы с Верой пошли раз-два и удовлетворились вполне убогой программой захолустного цирка, застрявшего в Сухуме из-за финансовой невозможности двинуться дальше. Но Евреинов и Каменский, страстные любители цирка и циркачей, бежали туда частенько. От времени до времени они приглашали бедных циркачей к нам и требовали от меня, чтоб я «сварганила ужин для всей неимущей братии». И я варганила в саду астрономический шашлык из баранины вперемежку со свиной, хорошо орошенной кахетинским вином. И ели же эти циркачи на славу, переедая даже самого Васю. Особенно запомнился мне один из них – «человек-змея» (так назывался его цирковой номер). Заморенный, худенький, щуплый, но гибкий, как червяк, с маленькими жалкими моргающими глазками, целиком ушедший в сознание своего номера «человека-змеи». Потягивая кахетинское, он без конца рассказывал о своих неслыханных успехах по городам

рассейской провинции. Вася и муж смотрели ему в рот как завороженные, а я томительно ждала конца рассказа, чтоб собрать посуду и отнести ее в дом. Марина категорически отказалась пускать циркачей в квартиру и вообще участвовать в приемах «вшивой» компании, как она выражалась. Для этих приемов я и покупала провизию, и кухарила, и принимала «дорогих гостей» в саду. Насколько помню, в те месяцы Вася сочинил свое знаменитое стихотворение «Жонглер». Это было и моей наградой за труды по приемам циркачей.

* * *

С середины мая начались разговоры о возвращении домой. Первым смотался Вася, оказавшийся к этому моменту без гроша и сумевший выудить какой-то аванс от тифлисского импресарио лекций. Уезжая, Вася взял с мужа честное слово, что мы приедем в Тифлис и Евреинов прочтет свою лекцию «Париж накануне 23 года». Мне улыбалась возможность увидеть Тифлис, и муж согласился.

После Васи отплыла в невиданный ею Крым и Вера. Наконец и мы сами стали собирать чемоданы, чтобы отплыть сначала в Батум с братом художника Шервашидзе, а оттуда через день-два поездом в Тифлис.

Еще одно воспоминание: день именин мужа 22 мая (Никола Вешний), который мы пышно отпраздновали.

Пригласили фотографа и много снимались. Несколько фотографий до сих пор хранятся в моем парижском архиве. Две из них прилагаю к этой статье.

* * *

Двухдневное наше пребывание в Батуме оказалось почти трагичным: мы чуть не отравились насмерть запахом магнолий, проспав ночь в гостинице с открытым окном, находящейся на бульваре, обсаженном магнолиями в полном цвету.

В Тифлис приехали больные, измученные жарой и остановились в лучшей гостинице «Ориент», на Головинском проспекте.

«Ориент» до сих пор сохранила свой европейский и приветливый вид. Во время моего прошлогоднего пребывания в Тифлисе я хоть и остановилась в только что отстроенной «Иверии», по-американски комфортабельной и шикарной, но все же раз сходила позавтракать в «Ориент». Но в тот период европейский вид «Ориента» оказался очень обманчивым: ночью нас заели клопы. Объясняюсь утром с горничной, почему они не принимают меры против клопов!

– Да зачем нам это? Ведь наши клиенты персюки и к клопам вполне привыкли и не жалуются.

Я женщина энергичная и в тот же день накупила каких-то порошков и обильно обсыпала обе кровати... Клопы исчезли.

Но мучила нас в Тифлисе еще и удушающая жара. Когда мне было совсем не под силу, я убежала на мост над Курой, где всегда продувал ветерок. Помню, мне страшно хотелось посетить могилу Грибоедова, похороненного на горе Давида, но при всем нашем мужестве ни Вася, ни муж не взяли меня провожать в этой утомительной прогулке в гору. Так тогда я и не увидела могилы Грибоедова. Зато прошлый год быстро и весело поднялась на построенном с тех пор Фуникулере и даже многократно сфотографировалась.

Раз как-то, идучи по Головинскому проспекту, встретили режиссера Марджанова. Объятия, поцелуи, одним словом, «встреча по-кавказски».

– Завтра вы мои гости! – твердо заявил Марджанов, давая свой адрес. – Ждем вас с женой к часу!

Вася обрадовался приглашению – думаю, что ел он плохо в это время, страдая острым безденежьем, – а я испугалась, узнав, что Марджанов живет на далекой окраине. Извозчиков в те поры в Тифлисе не существовало, значит, нужно переть пешком под раскаленным солнцем по раскаленной земле.

Муж тоже неохотно принял приглашение. Надо сказать, что время обеда было единственным, когда мы отдыхали от жары, открыв прелестный духан «Симпатия» (но довольно дорогой), где всегда было прохладно и где подавали изумительную осетрину, до которой я большая охотница (я родом с Волги),

и замечательные шашлыки. К счастью, у нас еще оставались деньги (билет до Питера был уже в кармане) и мы могли раз в день есть в «Симпатии», изредка приглашали и Васю. Духан этот запомнился мне навсегда не только своей осетриной, но и росписью стен: они были целиком покрыты портретами знаменитых людей. Тут был и Наполеон, и Шекспир, и Пушкин, но все они были типично грузинского обличья и лишь надпись под портретом позволяла узнать, кого он изображал. Ах, милая «Симпатия», с нежностью вспоминаю твою прохладу, твою осетрину и галерею великих людей, огрузиненных фантазией художника. Прошлый год я не менее насладилась наивной живописью Пиросманишвили в тифлисском ресторанчике «Дарьял».

На другой день, набравшись мужества, мы отправились к Марджанову. Был особенно тяжело-жаркий день. Полумертвые доплелись до его дома. Стучим. Никакого ответа. Еще стучим – тот же результат. Наконец решили обратиться к соседке. Приветливая женщина сообщила:

– Да их давно дома нету, ушли еще спозаранку.

Что делать?

– Братцы, давайте ждать их, – предлагает Вася.

Уселись в тени. Просидели с час – никого. Несмотря на жару, надо возвращаться в город. Да и есть захотелось.

В полном изнеможении добрались до нашей «Симпатии», прихватив и Васю. Поевши и «переварив и событие», как выразился Вася, пошли к нам в отель. Сам Вася жил у кого-то даром на квартире. В холле отеля нам навстречу бросился плачущий Марджанов.

– Пощадите преступника! Простите без вины виноватого! Умоляю слезно. Утром вышел в город за деньгами – твердо обещанными накануне, а получил вот только полчаса назад. На базар идти жене было не с чем. Простите великодушно. Но зато завтра я вам закачу настоящий пир!

Мы пытались что-то возражать, но Марджанов и слушать не хотел и только махал руками:

– Коль завтра не придете – значит, обиделись, значит, конец дружбе!

Приняли приглашение и на другой день при той же температуре снова прошагали долгий путь. Пир Марджанов закатил действительно на славу. Со всем грузинским радушием.

Наконец наступил день лекции. Состояла она из двух частей:

Каменский: Москва накануне 1923 года.

Евреинов: Париж накануне 1923 года.

Несмотря на жару, большой тифлисский театр был полон. Лектора имели большой успех, но, конечно, всех интересовал недостижимый Париж (откуда мы

вернулись в январе), а не Москва, с которой было постоянное сообщение.

После лекции надо было произвести расчет с устройте-лем. После короткого разговора с ним муж вернулся смущенный и только пробормотал:

– Ничего не понимаю. Но денег нет.

Заинтригованная, я полетела к импресарио:

– В чем дело? где же гонорар мужа?

– Да ведь я ему выслал авансом в Сухум по просьбе Василия Васильевича.

– Ну а то, что осталось? – спросила я, начиная понимать, что Вася уехал из Сухума на аванс Евреинова.

– А остаток Василий Васильевич взял сейчас же после своего выступления.

И он показал расписки Каменского.

Самого Васи и след простыл.

Огорченные, мы вернулись в отель. По дороге поспорились: я настаивала, что нужно объясниться с Васей, а Евреинов только повторял:

– Десять атлетов не могут раздеть голого! Деньги им потрачены, а что осталось еще, то крайне нужно, чтоб выехать из Тифлиса. И всякое объяснение поведет только к ненужной ссоре.

На утро и я согласилась с доводами мужа.

С Васей мы встретились только вечером на обеде у молодого поэта Василия Катаняна (ныне мужа Лили Брик).

Мы молчали о деньгах. Вася тоже ни гу-гу! Но вспышка все-таки произошла, хотя и по другому поводу. Говорили за столом о стихах. Я сказала что-то очень восторженно-хвалебное об Ахматовой. Подвыпивший Вася вдруг бахнул:

– Твоя Ахматова – мещанка!

– Не смей так говорить! – почти иступленно закричала я, выливая в этой защите Ахматовой весь свой гнев за вчерашнее поведение Васи. – Возьми сейчас же свои слова обратно! Или... или...

Видя мое почти истерическое состояние, все всполошились, стали меня успокаивать, отпаивать водой. Вася тоже струхнул и бормотал что-то мало членораздельное...

На другое утро – день нашего отъезда Вася пришел прощаться. Мы братски обнялись, и весь эпизод был забыт. Однако он не посмел ни разу взглянуть мне в глаза.

* * *

Последняя наша встреча была снова в Ленинграде. Вася приехал – поскольку помню – на премьеру своей пьесы «Здесь славят разум». Я была очень больна в то время и как-то смутно вообще помню это время.

В январе 1925 года мы уехали за границу – Польша, Чехия, Париж, Корсика, снова Париж. Вася писал довольно часто. Но в январе 1926 года переписка приняла лихорадочный характер. Мы в это время

находились в Нью-Йорке, и Вася бомбардировал мужа письмами, умоляя устроить ему проезд в США. Со своей далекой Каменки ему казалось так просто найти импресарию, который бы выслал ему 1000 долларов и необходимую (очень трудную по тем временам) визу и «аффидевит» (денежное обеспечение пребывания).

В Нью-Йорке мы постоянно виделись с Давидом Бурлюком, давним и закадычным приятелем Васи. Бурлюк представлял меня американской публике на многочисленных моих лекциях как в Нью-Йорке, так и в Филадельфии. Но как мы все вместе ни прикидывали и ни гадали, никак не могли придумать, как помочь Васе приехать в Америку. А Вася недоумевал в письмах: как это Володя Маяковский съездил, нахватал кучу долларов, а его мы не можем выписать.

В 1927 году мы вернулись в Париж*. Переписка с Васей приняла более спокойный характер. Длилась она до самой войны.

В 1953 году умер мой муж. Я думала, что и Васи уже не было в живых: после войны от него не было ни звука. И вдруг в конце 50-х годов звонит мне на парижскую квартиру Давид Бурлюк:

– Мы с женой проездом в Париже. Возвращаемся в США из СССР. Жаждем повидаться.

Они приехали ко мне на дачу на целый день. Разговоров было великое множество.

* См. мою книгу: *Н. Н. Евреинов в мировом театре. Париж, 1965.*

– А когда Вася умер? – спрашиваю я.

Давид Давидович слегка смутился:

– Да он жив...

– Так как же вы с ним не повидались? – удивляюсь я донельзя.

– Да вот так вышло. Сказали нам, что тяжело болен, лежит в больнице и лучше его не навещать.

Мне это осталось непонятым: Бурлюк был добрым человеком, жена его – премилая, как же было не навестить больного приятеля, чтоб сказать ему хоть несколько подбодряющих слов?

В 1965 году я была в Москве впервые после 40 лет отсутствия. На обеде у Лили Брик услышала от нее короткий рассказ о последних годах Васи и об его смерти в 1961 году.

Кончаю свой очерк выпиской из книги Васи о муже: «Пришествие Евреинова, обогатившего нас разноцветными праздниками океанского дарования, казалось бы, явило нам высшую степень подъема духовного восхищения перед человеческим гением, таящего в себе целое царство удивительных возможностей... Мы, скупые и нелепые на признание при жизни своих пророков, слишком недоверчивые и холодные, удовлетворившись больше внешними ценностями, далеко недооценили внутренние богатства великого творчества Н. Евреинова-мыслителя».

Как же мне, жене Евреинова и его соратнице на поле жизненной брани в продолжение трети века, не любить Василия Каменского за одни только эти слова?

Париж, 30 июня 1971 года

Анна Кашина-Евреинова

Как уже упоминалось, в 1970 году жене Евреинова посчастливилось вновь побывать в Сухуме, пройтись к «Генуэзскому переулку», заглянуть на «дачу светлой Ю», где она останавливалась в 1923-м. Марина Ивановна Киссен там уже не жила... Здесь у нее произошла волнующая встреча с дочерью художника Р. А. Шервашидзе-Чачба, искусствоведом Б. М. Аджинджалом. Часть своих материалов Анна Кашина-Евреинова при непосредственном участии историка П. О. Тулумджяна передала в государственный архив Абхазии.

Хранятся в этом архиве и ее воспоминания «Князь Александр Константинович Шервашидзе» (Париж, 1970). В отличие от пермских, они частично использованы в некоторых работах исследователей. Приведу лишь отдельные выдержки.

«Мой первый сознательный творческий контакт с А. К., – пишет А. Кашина, – было мое участие, как начинающей актрисы, в пьесе Хардта “Шут Тантрис” (вариант легенды о Тристане и Изольде) в Александринском театре в Питере в сезон 1920–1921 гг. Декорации

и костюмы к пьесе были сделаны Головиным и Шервашидзе и – поскольку я узнала позднее – больше вторым, чем первым. Ибо, выйдя весной 1921 года замуж за Н. Н. Евреинова, я вступила в переписку с Натальей Ильинишной Бутковской, в то время гражданской женой Шервашидзе. Они жили уже в Париже и умоляли меня забрать картины А. К., оставшиеся в петербургской квартире Бутковской. Жильцы, вселившиеся в эту квартиру, охотно мне отдали целую серию полотен. Среди них находились и 3 эскиза к “Тантрису”...

В 1923 году мы с мужем познакомились с В. К. Шервашидзе* в Батуме, где он, как юрист по образованию, занимал пост следователя ЧЕКА.

...Примерно в середине первого десятилетия нашего века А. К. вернулся в Россию и вскоре в Петербурге встретился с моим будущим мужем Н. Н. Евреиновым, привлечшим его к работе в проектируемом им Старинном театре, первый сезон которого – цикл возрождения средневекового театра был дан уже в сезон 1907–1908 гг. О “Старинном Театре” историком Эдуардом Старком** написана большая книга... Евреинов в содружестве с бар. Дризенем привлек в этот театр такие имена, как Бенуа, Добужинский, Рерих и другие, впервые дав место на сцене настоящим боль-

* Брат А. К. Шервашидзе – С. Л.

** Эдуард Старк. *Старинный Театр. Петербург. 1910; 1922 год, 2-е изд.*

шим художникам. Если не ошибаюсь, то с этого момента Шервашидзе начал работать и в Императорских театрах, вскоре став, как я уже сказала, правой рукой Головина... Его же сотрудничество с Евреиновым в Старинном театре продолжалось и в следующий сезон (1910–1911) этого театра, возродившего на этот раз блеск испанского театра XVII века.

...После 1911 года Старинный театр уже не возобновил своей деятельности. Бутковская открыла издательство “Современное искусство”, в котором под руководством Шервашидзе и в сотрудничестве с Евреиновым выпустила ряд монографий о художниках и несколько книг самого Евреинова. На этом поприще она вполне преуспела в противоположность своей артистической карьере...

Осенью 1917 года она уехала на Кавказ (в Сухум), забрав с собою старого отца и, конечно, князя. Через несколько лет, похоронив в Сухуме отца, она с князем уехала в Лондон, где к тому моменту поселилась ее сестра, вышедшая замуж за англичанина Хьюит. Уже живя в Париже, я наслушалась немало рассказов как от мужа, так и от Бутковской об их жизни на Кавказе, куда и муж приехал в 1918 году. Жили они все у воспитанницы мужа Юлии Ивановны Давыдовой и ее сестры Марины Киссин в их собственном доме, стоявшем тогда несколько вне самого городка

в переулочке... Весной 1923 года я провела там три месяца и тоже наслушалась немало воспоминаний от Марины и ее мужа. Жили они эти годы очень бедно, распродавая имущество, устраивая всякие театральные предприятия. Муж часто уезжал на гастроли со своими выступлениями как лекций, так и спектаклей с одноактными пьесами. В моем архиве случайно сохранилась афиша одного такого спектакля в Сухуме с именами Евреинова и Шервашидзе. Шла “Веселая смерть” Н. Евреинова.

...Пребывание у сестры Бутковской, ставшей миссис Хьюит, оказалось для Шервашидзе очень тягостным, и через год он уже перебрался в Париж. К этому моменту я вступила с ним в эпистолярную связь, так как он хотел узнать о судьбе своей семьи, оставшейся в Крыму*. Со своей стороны энергичная... Бутковская завязала связь с Дени Рош, переводчиком Евреинова, который и устроил “Веселую смерть” в знаменитом тогда театре “Вье Коломбье” Жана Копо. Князь сделал декорации, а Бутковская воспроизвела сухумскую постановку Евреинова. Таким образом, зачатая в скромном Сухуме, эта постановка увидела свет и в Париже, пленив его своей свежестью».

* Его первая жена Е. В. Падалка жила с двумя детьми в Феодосии. – С. Л.



С «сухумским ренессансом» тесно связана и переписка Н. Н. Евреинова с В. И. Стражевым и В. В. Каменским (1923–1926), найденная в московском архиве литературы и искусства.

Николай Николаевич живо интересуется новостями, спрашивает о Киссенах, сообщает о смерти своей матери, об издании кривозеркальных пьес и новом выходе книги «Театр как таковой» в Берлине...

В одном из больших писем (12 декабря 1923 года) Евреинов писал Стражеву:

«Дорогой Виктор Иванович, поздравляю Вас и все Ваше семейство с наступающим Новым Годом. Желаю достойного Вас счастья!

Ровно ½ года, что мы не беседовали с Вами, несмотря на то, что я по Вас очень скучаю.

Мне сообщили, что Вы не поехали в Москву, получив высокое назначение в Наркомпросе Абхазии. Радуюсь, если это хорошо для Вас, но грущу, что 3½ тыс. верст продолжают разделять нас: – я так мечтал, что Вы побываете в Петрограде и мы повидаемся. Но я вполне понимаю, как трудно расстаться с Сухумом: я сам так люблю Сухум, что, кажется, если б мог, никогда из него не уехал.

Мне очень-очень интересны все Сухумские новости...

Пожалуйста, если только урвете $\frac{1}{4}$ часика, напишите, что за эти $\frac{1}{2}$ года случилось у Вас в Сухуме интересного. Вашим письмом Вы, так сказать, “убьете” 2-х зайцев: – меня, жену мою и Н. И. Бутковскую, которой, если разрешите, я перешлю в Париж Ваше письмо; она там часто спрашивает о Вас и вообще о Сухуме.

Т. к. м. б. Вам хочется, чтобы я первый начал обмен новостями с Вами, то извольте.

...Я целые дни сижу, редко отрываясь, над своей работой о козле. На днях начинают печатать мой труд “Азазел и Дионис” (О происхождении сцены в связи с зачатками драмы у семитов) с предисловием Б. И. Кауфмана...

Сейчас заканчиваю (выйдет в печати также отдельно) “Театр у животных и зоодрама первобытных народов”. (Введение в историю театра.)

...В апреле-мае собираемся вновь в Париж, куда зовет Н. И. Бутковская. Думаем даже в U. S. Америки дернуть, если дела с моими пьесами там устроятся. В книге “The Russian Theater” Оливера Сойлера большая глава обо мне “Евреинов и монодрама”, портреты и пр. ...Прислали вырезку из итало-америк. журнала “Carriere d’America” с моим большим портретом и подписью “Евреинов – русский Пиранделло”. Словом, “реклама – двигатель торговли”, и, если дела там в Америке устроятся, – прокачусь туда, хотя мне, честное слово, гораздо больше хочется в Сухум...»

Своему другу Каменскому Евреинов сообщал 25 февраля 1924 года:

«...Только что был у меня Беляев (из Сухума, кот. ты тогда послал в Москву к т. Луначарскому с письмом). Он в восторге от постановки “Стеньки Разина” – моего любимого произведения, и я от всей души поздравляю тебя с громадным успехом».

Ровно два месяца спустя, 25 апреля, Николай Николаевич обращался к Стражеву:

«Бесконечно был рад получить письмецо от Вас из дорогого мне Сухума. Кланяюсь всем Вашим и поздравляю с праздником. Скоро вышлю Вам новую свою книгу в подарок... Еду дней на 10 в Харьков на гастроли. Очень скучаю по Сухуму и по Вас. Пишу второпях перед отъездом. В. Каменский женился на Галичке, а не на Соничке. Жму крепко руку».

И наконец, последняя весточка – красочная открытка: Нью-Йорк ночью, небоскребы.

«г. Сухум-Кале, Остроумово Ущелье
Виктору Ивановичу Стражеву. 26.1. – 1926 г.

Подплывая к Америке, шлю привет дорогому Виктору Ивановичу и его семейству... Что нового? Я так давно Вас не видел.

Преданный вам Н. Евреинов».

3. Августа Алексеевна

Августа Алексеевна Касторская с сыном Алексеем Васильевичем живет в Москве, рядом с американским посольством.

Августе Алексеевне пошел десятый десяток, но, как говорил Маяковский, – «у меня в душе ни одного седого волоса». В прошлом году вместе с Вячеславом Чирикба мы навестили этого очень милого, очаровательного человека.

В одной из автобиографий Василия Каменского, найденной в архиве, говорится: «В конце 1925 года женился на А. А. Касторской, дочери известного композитора-хормейстера А. В. Касторского. Жена – талантливая пианистка-певица».

Алексей Васильевич Касторский (1869–1944) учился в классе композиции Петербургской консерватории у Н. А. Римского-Корсакова. Ученик оказался талантливым музыкантом, и композитор обучал его бесплатно.

– Папа был церковным, – рассказывает Августа Алексеевна, – духовным музыкантом и композитором. Сыном священника. Его двоюродный брат – знаменитый бас В. И. Касторский, солист императорского Мариинского театра, а затем Кировского, один из лучших исполнителей партий в операх Р. Вагнера. Я училась у него в Петрограде, пела в капелле с дочерью Римского-Корсакова.

В письме В. В. Каменскому из Сорренто А. М. Горький (15 мая 1926 года) писал: « Попрошу Вас передать мой сердечный поклон Вашему тестю, музыку которого я слышал, люблю и считаю изумительной по глубине ее проникновения в темы».

В это время Касторские уже перебрались в Сухум. Каменский уговорил родителей жены продать дом в Пензе и поселиться в Абхазии. Сначала Василий Васильевич с Августой Алексеевной жили в «Генуэзском переулке» у «Кисиных», затем они купили дом на берегу Беслетки, а позднее поселились на горе Чернявского.

В 1927 году у Каменского родился в Сухуме сын Алеша. С Августой Алексеевной они прожили недолго. Василий Васильевич вскоре уехал и появлялся в Сухуме неожиданно, как кочевник.

– Мне очень нравились ранние, музыкальные стихи Каменского, – говорит А. А. Касторская. – «Звучаль веснеянки», например. Но только сейчас, спустя десятки лет, я вдруг поняла Василия. Как-то (в который раз!) прочла его стихи: «Я только мимо, я возле истины и любви». Но не в любви!.. Боже мой, вот он весь и есть Василий Каменский.

В двадцать седьмом поэт буквально обрушился на Сухум. В последних числах февраля он прибыл сюда на пароходе «Ленин». Лучи солнца сливались с желтыми ветвями мимоз – вестниками весны, а скрип кре-

стьянских воев будил город. По его улицам в экипаже летел поэт.

В мягкой поступи буйволов сонных,
В тихом скрипе абхазской арбы
Будто слышится песнь перезвонно
Отдаленной пастушьей трубы.

Свой гимн Каменский так и назвал – «Привет Сухуму!».

Весной Василий Васильевич увлекся актрисой Ю. М. Даминской, выступавшей в театре «Сатиры и интермедии» под руководством М. Т. Строева. 21 мая он поместил в газете рецензию на открытие театра: «Несмотря на “мокрое настроение” (ну и погода у нас: не Сухум, а Мокрум), сухумцы веселились искренне. Выход известной нам Ю. М. Даминской встречен горячими рукоплесканиями. Даминская – артистка большого дарования – одинаково развернула свой талант, блеснув богатой техникой, подлинной артистичностью...»

Эта рецензия, видимо, служила определенным целям поэта, но из затеи ничего не вышло. В Сухуме объявился режиссер Фореггер и увез Даминскую в Одессу...

Каменский был тогда еще женат на Августе Алексеевне. Он оставался таким, каким был в своем «Гимне 40-летним юношам» (1924). Поэт переиздал эти стихи в тифлисском сборнике «И это есть» (1927). Он утверждал, что по-прежнему остается «юнцаем»:

Мы в 40 лет –
 ой-ой!
 Совсем еще мальчишки:
 И девки все от нас
 Спасаются гурьбой,
 Чтоб не нарваться в зной
 На буйные излишки.
 Ну, берегись!

Каменский оставался Каменским.

Каждой весной он врвался в Абхазию морским ветром. И печатал в местной газете свои бесконечные стихи о «завоеванном счастье». Например, такие:

Верь солнцу яростной весны, –
 Надеждам золотых дождей!
 Да здравствует Советская Апсны
 Под крыльями своих вождей!

Августа Алексеевна воспитывала сына одна. Было трудно. Работала в нескольких местах: в немом кино, цирке, выступала в различных концертах, преподавала в сухумском музыкальном техникуме.

Особенно запомнилась жизнь на горе Чернявского с прекрасным видом на город, море, холмы.

– Да, – говорит Августа Алексеевна, – это был наш последний дом в Сухуме. В белом зале, наверху, на по-

следнем этаже, я играла на рояле и пела. И это было слышно у моря.

Николай Вержбицкий вспоминал позднее, что отец Касторской занимал в этом доме две комнаты: «В одной была постель и письменный стол, в другой – диван и великолепный старинный немецкий фисгармоний, нечто подобное органу. На нем композитор играл каждую ночь, исполняя сочиненные им фуги».

Августа Алексеевна работала в музыкальном техникуме в Сухуме до 1935 года. Работала вместе с отцом. Композитор А. В. Касторский состоял научным сотрудником техникума «по подготовке кадров дефицитных музыкальных специальностей в Абхазии» (с 1 декабря 1930 года) и преподавал «теорию абхазской народной песни». Так сказано в документе (от 7 октября 1932 года), подписанном заместителем директора Одиссеем Димитриади.

Как известно, в этот период вышли две книги К. В. Ковача – «101 абхазская народная песня. Этнографическая запись с историческими справками» (1929) и «Песни кодорских абхазцев» (1930). Касторский сразу же откликнулся на появление первой работы Ковача, но выразил несогласие с его методикой. Свой взгляд он обстоятельно изложил 22 января 1930 года в теоретическом труде «Абхазская народная песня» (63 с.), положив в его основу исследование профессора Московской консерватории Александра Васильевича Никольского «Звукоряды

народной песни» (1928/29). Последний раздел рукописного труда А. В. Касторского называется «Будущее абхазской песни».

«Полифоническая обработка абхазских мелодий представляет огромные трудности, требуя сверх основательного изучения ладовой их структуры еще и недюжинного творческого таланта. За обработку родной песни должны будут взяться прирожденные абхазцы, которых образует Абхазская музыкальная школа. Народная песня ляжет в основу национальной абхазской культурной музыки.

Искусство нуждается в обновлении. Культурная музыка Европы в своем развитии уже приближается к тупику и мечется в поисках новых форм...

При таком моменте в положении музыки мы констатируем, что абхазской песне остался чуждым изжитый мажоро-минорный дух; она идет другими путями. Она является верной преемницей здоровой античной культуры... Новое в искусстве возможно и есть одно: новые оформления. Тысячелетняя жизнеспособность абхазской песни сама по себе свидетельствует о ее интеллектуальной значимости; генеалогия песни указывает на сильных духом ее предков; песня дышит свежестью».

В обсуждении этого исследования А. В. Касторского приняли участие С. Чанба, Д. Гулиа, А. Чукбар, К. Дзидзария, Г. Берзения, П. Шакрыл, К. Ковач, К. Багапш,

М. Маан, П. Таркил, П. Чкадуа, В. Агрба, А. Касландзия. Авторитетная комиссия постановила 9 июля 1931 года: «Труд тов. Касторского признать необходимым издать».

Однако он так и не был издан. Не помог и прекрасный отзыв профессора А. В. Никольского. Около полувека хранит рукопись отца в своем архиве Августа Алексеевна Касторская.

При жизни Алексей Васильевич опубликовал лишь небольшую выдержку из этой работы – статью «Абхазская народная песня» в газете «Советский писатель Абхазии» (1934). Им написаны также очерки «Абхазский балет», «Абхазская музыкальная культура».

Другому Алексею Васильевичу, по фамилии Каменский, шел четвертый год, когда его неугомонный отец-поэт отправился в очередное морское путешествие из Одессы. В архиве литературы и искусства сохранилась дневниковая запись, сделанная 29 марта 1931 года*. «Устраиваюсь в первом классе нового теплохода “Абхазия”, – писал Василий Каменский. – Еду в Батум. Ну и теплоход! Огромен, строен, блестящ, удобен... Громадина “Абхазия” к вечеру попадает в шторм... В Туапсе шторм затих. Но дикие волны не позволили остановиться ни в Сочи, ни в Гаграх. Мимо. Утром пристали к Сухуму.

* См. также: «Лит. Грузия», 1968, № 7.

Тихо. Солнечно. Сухум изумительно улыбался. Я еще более. Мы понимали друг друга. Тут я дома, как лист пальмовый. Главное – здесь родился и растет мой сыночек Алеша. Смотрю на тот самый дом, где... И так далее. Смотрю и вспоминаю об удивительных днях тропической восторженности, когда... И так далее. Теперь жизнь иная. Я еду мимо. В груди звучит далекая песня любимой Абхазии. И вот еду я на “Абхазии”, будто чужой, а это неверно. Я тот же неизменно, близкий, свой, взволнованный, благодарный. Мне не забыть ничего что оставлено здесь, в гнезде сухумском, в счастливых шагах по улицам прошлого, в зное приморском под пальмами. Здесь я написал “Жонглера” и вообще многое стоящее. Жизнь торопит. С борта “Абхазии” я еще долго до конца смотрел на оставленное гнездо. Нет, не оборвется нить никакими просторами. Еще встретимся, еще увидимся, не правда ли?»

Скоро они вновь увиделись. В июне 1933-го Каменский приехал в Сухум. Только что страна отметила 25-летний юбилей его творчества. Не осталась в стороне и Абхазия, куда он прибыл из Тифлиса.

– Остановился тогда Каменский в гостинице, – вспоминает Августа Алексеевна. – Привез Алеше много детских книг. Сын ему очень понравился. «Я – твой папа», – гордо сказал Каменский. «А я вас не знаю», – ответил Алеша. В Сухуме прошел вечер Каменского, было много людей. За нами с сыном приехала правительственная машина, и шестилетний Алеша высту-

пал в театре вместе с отцом. Каменский стал нас звать в Москву. Но там была новая жена. Я сказала, что не могу ехать «на живое место».

Местная пресса в те дни сообщала: «Советские писатели Абхазии организуют 5 июня вечер Василия Каменского в гостеатре, приветствуя у себя “инстинктивного бунтаря”, “жизнерадостного энтузиаста” и “славного певца революции”». Поэта торжественно встречали партийные и государственные деятели, представители общественности республики – Нестор Лакоба, Самсон Чанба, Андрей Чочуа... Газета «Советский писатель Абхазии» отмечала, что Каменский «в данное время, закончив работу над поэмой “Сухум”, работает над поэмой “Ткварчелы”. С этой целью он едет в Ткварчелы, чтобы ознакомиться с крупной абхазской новостройкой» (см. Х. С. Бгажба).

В 1981 году в московском архиве литературы и искусства мною была обнаружена рукопись поэта, которая называлась сначала «Ткварчельская поэма» и «Поэма о Ткварчели». Но оба названия перечеркнуты Каменским. В конце концов он назвал ее «Абхазия».



Василий Каменский подолгу жил в Абхазии. В одной из последних автобиографий, написанной 23 февраля 1953 года, поэт, в частности, сообщал: «В 1944 году тяжело заболел тромбофлебитом, который перешел в

гангрену, и мне ампутировали обе ноги. Тяжелая болезнь заставила меня покинуть суровый Урал и переехать в г. Сухуми».

Вместе с композитором Б. Фоминым он находился в Новом Афоне. Это было весной 1946 года. Будучи тяжелобольным, продолжал работать.

...Все будто мы ликуем в сказке
И лучезарный видим сон,
Как по коврам земли абхазской
Раскинул радости Афон.

Лежал он в санатории «Абхазия». После ампутации ног. «Я уже с марта живу в тропическом Афоне, – писал Каменский, – у лица моря... Даже с постельной подушки гляжу в окно и вижу рассвет на море. И слушаю симфонию морской легенды.

И внимаю поющим птицам.

Сейчас (ко всему) лунные ночи и на море происходит волшебство, которое не измерить разумом.

И не описать. И не берусь...

Ах, это море, море весной! Ради только одного моря стоило мне гнать сюда за семь тысяч километров.

Я очень счастлив, что именно здесь, в гостях у моря, в плену чудес, в музыке прибоя волн!

И пусть море тихое – оно все равно тихонько разговаривает.

И такие мудрости говорит, что и не повторить. И не берусь...»

Находясь в труднейшем положении, поэт не переставал удивляться жизни. Только великий оптимизм позволил ему выступить на творческом вечере 1 июня 1946 года в сухумском летнем театре. «Зал был переполнен, – вспоминает Х. С. Бгажба. – В своем вступительном слове я коротко обрисовал творческий путь поэта... Выступивший с чтением своих стихов и отрывков из поэм В. Каменский был тепло встречен участниками вечера. Несмотря на преклонный возраст и физический недуг (в это время были ампутированы обе ноги выше колен), он, сидя за длинным столом, великолепно читал свои “мускулистые” стихи, выделяя голосом нужные слоги и звуки, переходя на распев. От него исходили веселье, энергия и жизнерадостность».

Последние годы (1952–1956), проведенные Каменским в Абхазии, были для него самыми мрачными. Не помогала даже весна, на встречу с которой поэт так торопился.

Он жил на высокой горе, под замком. Отсюда, с мансарды, хорошо просматривались море, «Генуэзский переулок» и «дача светлой Ю». Он бесконечно рисовал цветные кораблики. Рисунки напоминали детские. А на стене висели яркие полотна молодого Давида Бурлюка. Что еще сказать об этих годах – больница, больница, больница...

Потом Каменского увезли в Москву...



Евгения Борисовна Захарова. По мужу – Рафальская. Она ближайшая подруга Августы Алексеевны. Сейчас ей идет 92-й год. Евгения Борисовна живет в московском пансионате для престарелых. «Теперь об Августе Алексеевне Касторской, – писала она в 1984 году в одном из писем. – Это мой самый большой, самый душевный друг, хотя мы очень разные и даже духовные интересы разные. Она – певица и пианистка, сын у нее – художник. Но мы очень близки, может быть, из-за прошлого... Ей 88 лет. 19 марта был мой день рождения, и она вместе с другой моей подругой приехали ко мне. А. А. почти слепая, и ей это путешествие... далось с трудом. На другой день у нее случился обширный инфаркт, осложнился воспалением легких. Она была на волосок от смерти. И сейчас еще в больнице. Я очень за нее боюсь».

Их связало прошлое – Сухум-Кале. Евгении Борисовне было четыре года, когда ее родители в 1901 году переехали сюда. Отец – Борис Николаевич Захаров – быстро стал известным адвокатом. Во время революционных событий 1905 года был избран председателем комиссии народного суда в Сухуме. Родной племянник знаменитого Германа Лопатина и соратник

Серго Орджоникидзе, он был осужден по делу сухумской организации РСДРП и отбыл наказание в крепости. В советское время он работал юрисконсультom, пользовался большим авторитетом.

На одно из писем дочь Бориса Николаевича ответила мне:

«Неверно, что отец был “в дружбе” с Н. Лакоба. Я бы определила так: они оба знали цену друг другу. Лакоба был очень властный, умный. С Лакобой, вероятно, было нелегко, но он ценил ум и эрудицию отца. Недаром его привлекали к составлению Конституции и Земельного кодекса Абхазии. В 1923 году в начале НЭПа Советская власть стала налаживать деловые отношения с капстранами... Начались первые торговые сделки. Некий бизнесмен, очевидно турок, зафрахтовал пароход и привез в Сухум мануфактуру, а здесь покупал табак. Союз грузчиков обрадовался случаю и то и дело приостанавливал работу и требовал повышения оплаты. Отец тогда страшно ругал руководство грузчиков. В результате бизнесмен, из-за лишнего простоя судна, потерял большие убытки и, приехав в Константинополь, предъявил иск Абхазскому правительству. Газеты там стали писать: “Вот, видите, нельзя торговать с Советами!” Тогда Абхазский Совнарком послал отца в Константинополь улаживать этот конфликт, и отец успешно это сделал».

Обо всем этом, о своей интереснейшей жизни подробно рассказала Евгения Борисовна в мемуарах «Из окна вагона». Прекрасная память, великолепная эрудиция и литературный талант позволили ей создать настоящее произведение.

Но отдельные эпизоды, личности, события не вошли в мемуары. Поэтому, когда началась наша переписка, мы договорились, что Евгения Борисовна будет писать мне о «разных мелочах», дополняющих ее воспоминания.

После окончания сухумской гимназии она в 1913–1914 годах жила и училась в Женеве, а Первая мировая война застала ее в Германии.

Потом снова Сухум. Учеба (1915–1916) в Петрограде на Бестужевских курсах, служба в Красной армии, Высший литературно-художественный институт (1925), переводческая деятельность, в 1931–1933 годах вместе с мужем В. А. Рафальским работает в Берлинском торгпредстве. Была инициатором и одним из организаторов журнала «Здоровье»...

В тринадцать лет она впервые опубликовала свои стихи. Они появились в газете «Сухумский вестник» (1910). Позднее Евгения Борисовна написала стихотворение «Певец», основанное «на полудетских воспоминаниях», когда отец брал ее с собой в поездки по Абхазии.

...Бешмет от зимнего тумана влажен,
В грязи дорог пройденных ноговицы,
Но гордый профиль стариковский важен,
Как профиль хищной и свободной птицы.

И ту же птицу он напомнил блеском
Прозрачных глаз, пронзительных и острых,
А песня душу затопляла плеском,
Как волны в бурю затопляют остров.

Старик «пел о днях полузабытых, о многолетней упорной брани». В небольшом комментарии к стихотворению Захарова отмечает, что «это было где-то недалеко от храма Илорской Божьей матери – кажется, так называлась эта церковь, которую мы осматривали».

...Перед глазами битвы их вставляли:
Как за свободу просто умиралось!
И смерть под свисты пуль и скрежет стали
Будила гнев иль радость, – но не жалость.

Умолк. Но песня точно ветер с моря:
Казалось, все мы сделались моложе.
Старик спросил: «Далеко ль до Илори»,
И встал с ковра, и посох взял дорожный.

И мы увидели, когда он вышел,
Что поступь важная и все движенья

Исполнены особого значенья,
И он казался головою выше,
Чем юноши из нашего селенья.

Евгения Борисовна входила в 20-х годах в литературную группу «Перевал», руководимую А. К. Воронским. Печаталась она тогда («Сухумские сонеты», «Сентябрь») под фамилией Турская (Владислав Марианович Турский – ее первый муж), занималась переводами. В «Новом мире» был опубликован ее перевод рассказа Ж. Жироду «Святая Эстелла» с предисловием самого А. В. Луначарского.



В письмах Евгении Борисовны содержатся ценнейшие сведения.

Например, о пребывании в Абхазии Германа Лопатина.

«Лопатин после Шлиссельбурга приезжал к нам в 1906 году, – сообщает Захарова, – если не ошибаюсь, в октябре или ноябре... Встречали дедушку много лодок, но красных флагов не было (учтите – полиция)... Приходили депутации от общественных и партийных организаций и просто сухумские интеллигенты (в том числе и М. Л. Томара). Второй раз Г. А. приезжал весной 1914 года (я была за границей), потом в 1915, 1916, 1917 годах – всегда весной, по дороге в Тифлис».

Она вспоминает, как весной 1915 года Лопатин несколько дней провел в Цебельде. Там «находился какой-то студент из Петрограда, который был страшно изумлен, встретив в горной глуши Германа Лопатина».

Нити прошлого тесно связаны с нами. Порой они превращаются в струны и начинают звучать. Прошлое получает новую жизнь.

Полной неожиданностью для меня было письмо Евгении Борисовны Захаровой (Рафальской), отправленное из московского дома для престарелых.

«Хочу рассказать одну любопытную историю, – сообщила она 23 ноября 1985 года. – Я окончила Сухумскую гимназию, когда мне только недавно исполнилось 16 лет. К тому же я постоянно болела. Родители боялись послать меня для самостоятельной жизни в русский университет и отправили меня (при помощи бабушки В. А. Захаровой, ур. Лопатиной) в Женеву, в закрытое учебное заведение. Оно помещалось в старинном доме, построенном в XVIII веке и принадлежавшем другу Вольтера (замок Вольтера находится в 20 мин. езды на трамвае). Дом был двухэтажный плюс мансардный этаж. Вокруг – большой парк.

И вот представьте себе мое изумление, когда я увидела этот дом недавно по телевизору – это та “вилла”, которую снял Рейган для переговоров. Конечно, дом отремонтирован – был он (более 70 лет тому назад!) темно-серый, а теперь белый. Но это тот дом!

На другой день был опубликован снимок переговоров, когда Горбачев и Рейган сидят по обе стороны камина. И камин знакомый!

Надо сказать, что я была уверена, что переговоры будут в большом зале. Белая лестница ведет в этот зал. Согласно легенде в этом доме был Наполеон и якобы сидел в сохранившемся там высокочтимом кресле... У меня много фотоснимков (любительских) того времени, они сильно выгорели, но все же разглядеть можно и дом, и группу девушек около камина, от которого видна только верхняя полка.

Все это меня очень взволновало. Я теперь ясно вижу эту комнату, относительно небольшую и квадратную, где шли переговоры.

Этот дом, да и улочка эта в предместье Женевы называлась Варамбэ. И вот это название в последние годы стало упоминаться в прессе и по радио...

Вот такая “связь времен”!»



«История семьи Лопатиных, – писала Захарова-Рафальская, – история семьи Томара – это же все “Саги о Форсайтах”. Из семьи Томара никого не осталось, если не считать детей Алексея Михайловича, но это уже другое поколение. Последняя из всех детей М. Л. Томара – Ирина, – чудесный самоотверженный человек, – доживает свои дни в Америке».

Откуда эта странная фамилия?

Помню, как в 1982 году в Сухуми приехал седой, смуглый, высокий и стройный человек. Он представился: Томара. Алексей Михайлович называл свою фамилию по буквам – Т-о-м-а-р-а, ставя ударение на втором слоге.

Его отец, Михаил Львович (1868–1942), получил юридическое и экономическое образование в Московском университете, слушал курсы восточных языков в Лазаревском институте.

В 1901 году М. Л. Томара переехал в Сухум. Был председателем Общества взаимного кредита (1901–1904), городским головой (1904–1905), присяжным поверенным, председателем правления Сухумского Общества народных университетов*, управляющим отделением Азовско-Донского коммерческого банка (1910–1921).

До переезда в Абхазию Михаил Львович работал под непосредственным руководством С. Ю. Витте сначала в Министерстве путей сообщения, а затем в Министерстве финансов. «По поручению министра финансов обследовал экономическое положение Персии, – сообщает он в автобиографии, – для чего объездил Персию, Индию, Аравию, Турцию (1893–1894). В 1894 году был назначен заведующим Среднеазиатских отделений Нижегородской выставки 1896 года. В том же году вышел в отставку».

* Подробнее об этом см.: Л. М. Прицкер, Г. А. Дзидзария.

Витте ценил научный и журналистский талант своего личного секретаря. Он высоко отзывался о таких работах М. Л. Томары, как «Экономическое положение Персии» (СПб., 1895) и «Международная торговля спиртом» (СПб., 1895).

Интересно, что не без помощи молодого М. Томары Витте в 1892 году избавился от своего главного соперника при дворе Александра III – крупного чиновника и помещика А. Абазы, а сам получил назначение на пост министра финансов. Однако, занимая эту должность, Витте стал преследовать Савву Мамонтова – известного покровителя деятелей русской культуры – и до основания разорил его. Михаил Томара, бывший близким родственником Мамонтова, подал в отставку. Теперь министр был и сам рад избавлению от секретаря, посвященного в тайны его интриг.

В советское время, работая в Совнарком Абхазии консультантом по финансово-экономическим вопросам, Михаил Львович вспоминал (1923): «Уже более тридцати лет, как я стал журналистом, и стал им по распоряжению начальства. Был я тогда секретарем С. Ю. Витте, только что вступившего в ряды петербургской бюрократии, которая единодушно встретила его, свежего человека, пришедшего из настоящей жизни, безграничной ненавистью и презрением...

Витте быстро понял, какую громадную помощь в борьбе с бюрократией ему может оказать печать, и вступил с ней в самые близкие отношения. Всякий жур-

налист имел всегда свободный доступ в его канцелярию, и на мне лежала обязанность их информировать и инструктировать в желательном для С. Ю. духе...

Какое громадное значение печать имела еще в то время самого темного, беспросветного самодержавия, обрисовывается история падения всесильного советника Александра III А. А. Абазы, председателя департамента Экономии Государственного Совета. В 1892 году страшный голод в Поволжье заставил встрепенуться правительство и под председательством Абазы образована комиссия для борьбы с голодом. Делопроизводителем ее был Витте, я же переписывал секретные протоколы заседаний, почему и знаю все дело. Комиссия постановила воспретить вывоз хлеба за границу, и протокол об этом был послан на утверждение царю в Данию. Конечно, все держалось в страшном секрете. Когда указ о воспреещении вывоза хлеба прибыл из Дании, вместо того, чтоб его немедленно распубликовать, задержали на 10 дней по распоряжению Абазы, который, сам крупный помещик, грузил в ту минуту несколько сот тысяч пудов пшеницы в Одессе. Указ был распубликован после того, как он свою пшеницу сбыл. И вот вскоре после того произошли трения между Витте и Абазой, и в датских газетах, которые царь усердно читал, появилась инспирированная Витте заметка с описанием всей махинации. И эта газетная заметка повела к крушению всемогущего царского любимца, – Абаза был уволен от всех должностей и на докладе о сем

деле, который Витте представил царю по его приказу, Александр собственной рукой против фамилии Абазы написал: “Государственный вор”. После этого момента Витте стал одним из ближайших советников царя».

Итак, бывший секретарь министра Витте стал консультантом Нестора Лакоба – премьер-министра небольшой Абхазской республики. Однако с ним, председателем Совнаркома, отношения у М. Л. Томары очень скоро испортились...

В 1906 году в семье Михаила Львовича родился сын Алексей. Пройдет время, и он окончит медицинский факультет Ростовского университета, с 1929 по 1931 годы проработает в санатории имени В. И. Ленина в Гульрипше, пройдет дорогами Великой Отечественной, станет начальником госпиталей под Сталинградом и в Ташкенте, у него родится сын, вырастут внуки, а дочь выйдет замуж за правнука Льва Толстого...

Вспоминается теплый вечер в Сухуми в 1982 году. Мы с Алексеем Михайловичем в гостях у дочери художника Русуданы Александровны Шервашидзе-Чачба. Томара показывает фотографию дома, в котором они жили в Сухуме, снимки отца. Рассказывает, как сразу после установления советской власти в Абхазии отец передал (6 августа 1921 года) часть своей огромной библиотеки трудящимся республики, как он заведовал государственным книгохранилищем (с 17 марта 1921 года) читал лекции по истории политэкономии и коммерческой географии...

В 1927 году М. Л. Томара переехал в Москву. Преподавал немецкий язык аспирантам пединститута, был переводчиком ЦСУ. В 1930–1931 годах работал научным сотрудником Ассоциации востоковедения. В это же время в Комакадемии читал доклад о мусульманском феодализме и о византийских источниках биографии Мохаммеда...

Михаил Львович был человеком в высшей степени образованным. «Владею вполне английским, – отмечал он в автобиографии, – французским, немецким языками. Читаю по-итальянски, испански, арабски, персидски, латински, гречески, по-древнегречески и по-византийски. Знаком с турецким и туркменскими языками».

Еще раз о фамилии Томара.

По этому поводу существует семейное предание. Считается, что она – греческого происхождения. В 1453 году, когда турки осадили Константинополь, оттуда бежали и три брата Томара. Один из них оказался в Италии, другой – в Испании, а третий – на Украине. От этого третьего и пошли российские Томара. Из «Истории России с древнейших времен» Сергея Соловьева известно, что Томара финансировали царя Алексея Михайловича, а Петр I пожаловал им дворянский титул. Отец Михаила Томары – Лев Павлович – был уже киевским губернатором и занимал место сенатора...

Помимо Алексея Михайловича, в семье сухумских Томара были еще сын и три дочери. Одна из них, Софья (Соня) Михайловна, окончила в 1914 году Су-

хумскую женскую гимназию, а затем высшие женские курсы в Москве.

Шла Гражданская война. Софья была в Ростове, не могла пробраться в Сухум. Наконец поступила на работу в английскую миссию в Таганроге, влюбилась в английского морского офицера и уехала вместе с ним. При содействии этого офицера, накануне прихода Красной армии, в 1920 году к Сухуму подошла английская канонерская лодка. Она взяла на борт и доставила за границу двух сестер Софьи – Наташу и Иру. Михаил Львович категорически отказался эмигрировать. В это время осложнились его отношения с женой Ольгой Федоровной Якунчиковой. Томара своевольничал, страшно играл в карты. Всю семью содержала фактически сестра его жены, миллионерша Мария Федоровна Якунчикова. За Тучковым, очень богатым человеком, была замужем еще одна сестра...

В 20-х годах О. Ф. и М. Ф. Якунчиковы выехали во Францию, купили дом в пригороде Парижа и какое-то время жили вместе с Наташей, Софьей и Ирой.

После окончания войны возлюбленный Софьи уехал к семье в Англию. Она же быстро снискала себе славу известной журналистки и скоро стала заместителем редактора парижской газеты «Матен». В 1922 году Софья освещала работу Генуэзской конференции.

Во Франции она часто навещала художника А. К. Шервашидзе-Чачба и Н. И. Бутковскую, которые

увлекли ее антропософским учением доктора Р. Штейнера. Впоследствии Софья Томара станет его последовательницей и напишет о докторе интересные мемуары...

Е. Б. Захарова-Рафальская пишет о своей подруге: «Соня стала видной журналисткой-международницей, ее упоминают в своих мемуарах Черчилль и де Голль».

В годы Второй мировой войны она выступала с резкими публикациями, обличающими фашизм. Потом Софья вышла замуж за американца и принимает гражданство США. Софья Томара-Кларк работает корреспондентом «Нью-Йорк геральд трибюн» в Италии, Испании, Алжире, Египте, Китае, Индии... Ее репортажи пользовались неизменным успехом, долгие годы она являлась президентом Нью-Йоркского общества журналистов, неоднократно посещала нашу страну, бывала и в Абхазии...

Самой красивой из сестер Томара была Наталья. Она вышла замуж за бельгийца. Тот увез ее в Конго, где у Натальи родился сын. Сейчас ее внуки живут в США. Наталья умерла, а Ира переехала к ним...

На протяжении десятилетий Софья внимательно следила за творчеством А. К. Шервашидзе-Чачба. После переезда в Америку она до последних дней жизни художника (до 1968 года) оказывала ему материальную и моральную поддержку. В 1950 году, во время одной из последних встреч во Франции, Александр Константинович подарил Софье Томаре картину «Арлекин», написанную в 1942 году.

Жена Михаила Томары приходилась родной племянницей Савве Мамонтову. Интересно, что первая жена художника Шервашидзе тоже была племянницей Мамонтова и тоже воспитывалась с юного возраста в его доме. Вот такие бывают нити.

У своей сестры Софьи Алексей Михайлович Томара побывал в 1981 году. В университетском городе Принстоне, около Нью-Йорка, она передала брату картину «Арлекин» Александра Константиновича и просила отвезти полотно на родину художника. И вот, минуя не только моря и океаны, но и три инфаркта, 76-летний Алексей Михайлович привез в Сухуми драгоценный подарок. Привез ценой собственной жизни, потому что очень скоро его не стало...

Трогательной была тогда его встреча со своей родственницей по матери – дочерью художника Русуданой Александровной.

И, глядя на них, ликовал «Арлекин» в пестрых одеждах. Казалось, что это сам Александр Константинович торжествует на живописном холсте, наблюдает за каждым движением своей дочери и сыном своего друга. И я подумал: может быть, это тот самый сухумский Арлекин, Арлекин времен режиссера Николая Евреинова, поэта Василия Каменского, художника Александра Шервашидзе-Чачба? И все происходит в то далекое время, когда они собирались в Сухуме, а Виктор Стражев читал стихи: «Сидит у моря Арлекин...»

III

«ПЕСНЬ ОДНОГЛАЗАЯ, РАСТУЩАЯ ИЗ МХА»

1. Отражения в маленьком зеркале...

Работая над «Конармией», Бабель неоднократно бывал в Абхазии как специальный корреспондент газеты «Заря Востока». В автобиографии он упоминал, что «был репортером... в Тифлисе», где трудился с июня по декабрь 1922 года.

Писатель помещал свои газетные очерки и статьи под псевдонимом К. Лютов. От лица Лютова написаны и многие новеллы «Конармии».

В первой советской «Литературной энциклопедии» (1930) о Бабеле говорилось: «Рассказы о Конармии выдвинули его в первые ряды советских художников слова. Новизна материала, целиком взятого из революционной, еще не нашедшей отображения в художественной литературе, жизни, а также оригинальность выполнения не могли не сделать из новелл Бабеля о Конармии чрезвычайно значительных произведений».

Журналистская работа сыграла большую роль в формировании писателя. «С первыми номерами “Зари Востока”, – писал он, – связана счастливая пора моей жизни в Тифлисе и начало литературной работы».

На страницах этой газеты Бабель опубликовал серию малоизвестных очерков, помещенных под рубрикой «Абхазские письма» («Письма из Абхазии»).

В сентябре 1922 года появился материал «Столица Абхазии». В нем говорилось: «Из Батума в Сухум отходит громадный пароход “Ильич”, бывший океанский пароход “Вече”. На пароходе чистые каюты. По вечерам в буфете дается концерт. Куплетисты, рассказчики певцы и танцоры делают все от них зависящее, чтобы доставить вам приятное времяпрепровождение. Это все герои из “Одессы-Мамы”. Днем они совершают различные сделки, слезают в портах, покупают и продают товары, – вечером они развлекают публику и поют самые веселые куплеты, высмеивающие НЭП. И за это они пользуются правом бесплатного проезда “Батум – Одесса и обратно”».

Так начиналась одна из первых публикаций о Советской Абхазии в «Заре Востока».

Рано утром при ясной погоде «Ильич» стал на рейде. «Сухумская бухта – это какой-то монастырь, тихий и задумчивый, на фоне капризного, иногда свирепо бьющего волнами, моря, – продолжал Бабель. – А за этой бухтой живописно приютился такой же тихий и задумчивый

городок, ярко белеющий своими белыми домами, издали напоминающими дворцы, и своей необыкновенной зеленью, пальмами и кипарисами. Сухум – столица маленькой республики Абхазии» (6 сентября, № 66).

Однако, как оказалось, это было первое впечатление от города: днем он уже напоминал деловую биржу «со своими особенностями и прозаической практичностью». Писатель оказался в Сухуме в самый разгар нэпа. «В больших ресторанах-кафе, – замечал Бабель, – расположенных тут же на берегу моря, восседают продавцы и покупатели, маклеры и комиссионеры, иностранцы и туземцы. Тут же в кафе, за стаканами кофе с хачапури, совершаются сделки, которые потом уже оформляются где-то в Совнархозах, Внешторгах и др. Иностранцы очень щедры и целый день сидят в ресторанах, окруженные толпой маклеров, комиссионеров, протекционеров и прочей нэповской публикой, слушают звуки заезжего “одесского” оркестра и потом с обворожительной улыбкой оплачивают лирами часто большие счета».

Корреспондент показывает и тех государственных служащих, представителей новой власти, у которых «вместо связи с массами налаживается связь с иностранцами».

Новая экономическая политика проводилась в интересах укрепления союза рабочего класса с крестьянством. Нэп встряхнул и вызвал к жизни многие

отрасли экономики страны. Для более быстрого восстановления промышленного производства рекомендовалось привлекать иностранный капитал. Результаты этой гибкой меры сказались незамедлительно. «Еще год тому назад Сухум был пустынным и тихим городком, – сообщал Бабель. – А теперь в нем кипит жизнь новая, торговая, деловая. Как грибы, вырастают во всех направлениях магазины и будки, преисполняя искренним восторгом сотрудников Наркомфина Абхазии, которые тотчас же составляют новую смету косналогов. Базар переполнен продуктами, магазины – товарами. Налицо все признаки благополучия».

Мягкую улыбку у писателя вызвал размеренный ритм городка, его восточный колорит: «Порою кажется, что только на базаре и в кафе бьется пульс жизни Сухума, только здесь центр тяжести всего, а остальное – так, нечто вроде придатка к этому, главному и основному. Очень часто даже бывает так, что в учреждении вы не найдете нужного вам человека, ибо в это время он занят в кафе. Но сухумцы отлично знают, куда надо обращаться и где кого искать. И все опять хорошо, мирно, тихо и комфортабельно. Под сенью деревьев, под звуки оркестра – за стаканом хорошего абхазского вина “Изабелла”... Вечером ночь окутывает весь город мягким нежным покровом. На набережной гуляют красиво разодетые дамы. А с ними все те же знакомцы, которых вы целый день видели в кафе.

И огоньки в море приветливо, но лукаво мигают вам. И кажется, что весь Сухум расположен на набережной, и кроме набережной и его гостеприимных кафе, где восседают щедрые иностранцы, в Сухуме ничего больше нет. Даже море, изумительно пьянящее сухумское море, составляет только “бесплатное приложение” к набережной кофейни».

Шел второй год советской власти в Абхазии. В условиях Сухума, где рабочие составляли незначительный процент, мелкобуржуазные тенденции проявлялись во всех областях жизни и новому их расцвету способствовал нэп. Поэтому для истории представляет огромную ценность каждая документальная строчка Бабеля об этом своеобразном переходном периоде и его особенностях в Абхазии.

Следующий свой очерк, появившийся в «Заре Востока» 29 октября 1922 года (№ 112), писатель назвал «Табак». Это письмо из Абхазии не случайно было посвящено табаководству, так как оно являлось «экономическим стержнем края». В 1914 году сбор табака здесь достиг миллиона пудов. «Фабрики Петрограда, Ростова и юга России работали на сухумском сырье, – писал Бабель. – Отпуск за границу увеличивался с каждым годом. Прежние монопольные поставщики табака – Македония, Турция, Египет – не могли не признать несравненных качеств нового конкурента. Тончайшие сорта, выпускаемые прославленными фабриками Каира,

Александрии, Лондона, приобрели особую ценность от подмеси абхазского табака».

Иностранный капитал бурно устремился на побережье: выросли громадные склады, размножились промышленные плантации. Несмотря на притеснения царской администрации и грабительство скупщиков, местному крестьянству табак все же приносил определенный доход, а занятие табаководством было наиболее выгодным делом.

«После 14-го года война начала свою разрушительную работу, – продолжает исторический экскурс Бабель. – Волны переселенцев смяли драгоценную культуру, первый натиск революции не мог не усугубить кризиса, а меньшевики, эти роковые мужчины, разломали все вдребезги. Поистине, в этом феерическом и плодородящем саду, который называется Абхазией, научаешься с особой силой ненавидеть эту разновидность вялых мокриц, которые наследили здесь всеми проявлениями своего творческого гения. За два года своего владычества они успели разрушить все жизненные учреждения города, отдали лесные богатства на разграбление иностранным акулам и объявлением табачной монополии добились вконец нерв страны».

В результате «материальные условия абхазского селянина ухудшились резко».

За ликвидацию этих последствий взялась советская власть, которая первым делом отменила табач-

ную монополию. «Стремление к посадке табака всеобщее, – заключал Бабель. – Единственное, о чем взывает плантатор, – это о твердом законе для табачной промышленности... Смещению понятий и шатанию умов пора положить предел. Иначе золотые руды табачных приисков грозят замереть надолго, к великому ущербу для Федерации».

Положение в табаководстве неуклонно выправлялось. Эта отрасль, как и прежде, начинала занимать ведущее положение в экономике.

Одним из самых важных в Абхазии был и вопрос курортного строительства. Руководство республики во главе с Нестором Лакоба обратило в первую очередь внимание на бывшую «Гагринскую климатическую станцию» принца А. П. Ольденбургского. По заданию «Зари Востока» Бабель в ноябре 1922 года вновь едет в Абхазию и публикует (22 ноября, № 131) прекрасный очерк «Гагры» на тему восстановления этого курорта. «Волею державного деспота на скале воздвигся город, – писал он. – Были построены дворцы для избранных и хижины для тех, кто избранных будет обслуживать. На глухом берегу заиграли огни, и тугие кошельки с продырявленными легкими потянулись к скале светлейшего деспота. Все текло, как положено! Дворцы цвели, хижины гнили. Дырявые легкие избранных выздоравливали, здоровые легкие служа-

ющих крошились и разрушались, а необузданный старый принц неумоимо гонял лебедей по своим прудам, разбивал цветники и карабкался по кручам, водружая на недосягаемых вершинах дворцы и хижины...»

Художник дал мрачную картину запустения элитарного курорта дореволюционной России.

Сквозь газетные строчки прорываются мощные разряды будущей бабелевской прозы.

«Война и вслед за нею революция. Прибой и отливывы Красных знамен. На модных курортах не стало больных, а у сиделок не стало хлеба. Грохот сражений на больших дорогах и присевшая на корточки тишина в глухих углах. Всероссийская буря выбрасывает ненужный щебень на дальние берега, трупы крыс, бежавших с корабля. А мертвенные Гагры, эта величавая нелепость, глохнут и дичают на своей разрушенной скале, всеми забытые, ничего не производящие...

Еще и теперь впечатление, производимое этим унылым и диковинным городком, ужасно. Он похож на красавицу, ободранную дождем и слякотью, или на труппу испанских танцовщиц, гастролирующих в голодающей волжской деревне. Пруды, разбитые вокруг дворца, превратились в болота, и их ядовитое дыхание выпивает из призрачного и жалкого населения последние остатки сил. Невообразимые шафранные люди в стукалках и вицмундирах расхаживают среди сумрачных балаганов, стиснутых гранитными

стенами многоэтажных великанов. Безумие Гойи и ненависть Гоголя не могли бы придумать ничего более страшного. Обломки крушения, бессмысленные видения прошлого, это дореформенное чиновничество, сожженное нищетой и малярией, застрявшее почему-то в живых, бродит здесь, как грустный символ умершего города».

Такова была Гагра в эпоху своего упадка, с 1917 года. Но вот, спустя пять лет, здесь открылся первый лечебный сезон. «Санатории чистятся и приводятся в порядок, – сообщает писатель. – Ждут больных товарищей из РСФСР и Закавказья... Возможности в Гаграх велики... Курортное управление до сих пор, как известно, не страдавшее от переутомления, проявляет кое-какие признаки жизни. На опавших щеках городка заиграла робкая улыбка ожидания. Гагры ждут новых птиц и новых песен. Эти измученные, заболевшие, но неутомимые птицы, оплодотворившие беспредельные пространства нашей страны, – пусть приложат они частицу своей животворящей энергии для того, чтобы возродить к жизни целительную климатическую станцию...»

Последний материал об Абхазии появился в газете 14 декабря 1922 года (№ 150) и назывался «Ремонт и чистка». В нем Бабель рассказал о том, как правильный подход к энпу помог восстановить и значительно улучшить народное хозяйство Сухума.

«Немножко истории, – предлагал он. – Знать ее необходимо для того, чтобы увидеть, как правильно иногда (к сожалению, не всегда), с каким верным чувством применяется НЭП на местах (к сожалению, не во всех местах). В прошлом году городское хозяйство Сухума подошло к той черте, за которой начинается катастрофа. Большевики подорвали его вконец... Ограбленная большевиками электрическая станция едва дышала. И главное – не было сознания того, что необходимо во что бы то ни стало восстановить наши города, колыбель пролетариата. Коммунхоз не имел ни авторитета, ни средств – знакомая картина».

Но вот наступил 1922 год. Коммунхоз стал решать вопросы о водопроводе, электрификации Сухума, ремонте городских зданий. Еще полгода назад у Коммунхоза были только долги, а в декабре он уже содержал на свои средства школы, больницу, приют. «Все это достигнуто разумной арендной и торговой политикой без нажима на налоговый пресс», – писал Бабель. Все рычаги руководства нэпом находились в руках государства.

В Сухуме это выглядело так: «За столом сидит рабочий в кожаном картузе. У этого стола бьются крикливые волны “буржуазной стихии”, домогательств плохо понятого НЭПа, опасная вкрадчивость подрядчиков и подозрительные вылазки торговцев, капризная требовательность инженеров, жалобы старушек».

Бабель отмечал: «Важно не то, что одно из наших учреждений справляется со своим делом. Радостно знать, что вопрос, возбужденный сравнительно недавно, вопрос трудный и сложный, понят и разрешен в заброшенном от центра углу... Великое усилие ремонтирующейся, чистящейся федерации нашло здесь, в этом маленьком зеркале, верное отражение».

«Абхазские письма» Бабеля – яркий репортаж о строительстве новых отношений между людьми, революционном энтузиазме и, конечно, об объективных трудностях. Во время командировок в Абхазию Бабель неоднократно встречался с Нестором Лакоба. Между ними установились товарищеские отношения.

Одна из таких встреч состоялась в 30-х годах. «Мы поехали в Гагры в теплый солнечный день в открытой легковой машине, – вспоминала жена писателя А. Н. Пирожкова. – В Гаграх шли съемки “Веселых ребят”, и мы с Бабелем пропадали на них, смотрели, как снимают то Утесова, то Орлову, то как без конца бултыхается в воду очень милая актриса Тяпкина».

Они совершали прогулки в Жоэкварское ущелье, купались в море, вечерами у перса Курбана пили чай с кизилковым вареньем. Здесь же, в Гагре, в доме отдыха ЦИКа, состоялась встреча Бабеля с Лакоба. В письме ко мне А. Н. Пирожкова рассказала об этом неизвестном факте следующее:

«Я не была знакома с Нестором Лакоба, но я видела его. Когда мы с Бабелем приехали в Гагры в 1933 году,

должно быть в конце сентября или начале октября, Бабель мне сказал, что здесь сейчас Лакоба и он хотел бы с ним повидаться. Я помню, что мы вместе подошли к какому-то зданию, расположенному в парке, я осталась сидеть на скамейке перед входом, а Бабель пошел внутрь здания к Лакоба. Через какое-то время Бабель вышел вместе с Нестором. Он был небольшого роста... Мне кажется, у него был слуховой аппарат, от уха протянулся шнурок черный... Бабель попрощался с ним и подошел ко мне. О чем они говорили, Бабель мне не рассказывал, но у меня создалось впечатление, что они были знакомы и раньше. Отзывался о Лакоба Бабель очень уважительно, сказал, что в Абхазии нет более примечательной личности, чем он».

2. «Фореггер – существо фантастическое»

...Раскинув кирпичные руки красных зданий, Сухум приближался к морю. Пароход медленно подплыл к берегу.

И вот пассажиры уже шли по набережной! Яркая группа девушек обращала на себя всеобщее внимание горожан. Июльская набережная расцвела их улыбками, большими глазами и танцующей поступью. Шумную компанию в шортах возглавлял круглолицый человек в очках, с короткой стрижкой, державшийся,

несмотря на свой неожиданный и непривычный глазу черный фрак с атласными отворотами, очень демократично. Молодой милиционер юной абхазской милиции, дремавший до того на скамейке, вдруг проснулся и, видимо, никак не мог понять: проснулся он или то, что он видит, – продолжение сна.

– Кто они? – спрашивали в кофейнях и в духанах, в милиции и в Совете народных комиссаров.

Слухи быстро дошли до глухого Нестора Аполлоновича Лакоба. Он снял трубку телефона и позвонил редактору газеты «Голос трудовой Абхазии».

– Успокойте народ. Разъясните людям, кто это, – сказал председатель Совнаркома Абхазии.

Скоро появилось газетное объявление, в котором говорилось, что в Центральном рабочем клубе (ЦРК) состоится выступление сгоревшего, но... уцелевшего московского театра «Мастфор» Н. Фореггера. В программу вошли: «Урбанизм. – Эксцентрика. – Танцы машин. – Танцы Европы и Америки. Весь Сухум смотрит новое искусство».

Так в июле 1924 года в Абхазию прибыл на гастроли со своей знаменитой труппой режиссер и балетмейстер Николай Михайлович Фореггер (1892–1939), один из тех, кто закладывал основы театра нового направления. Еще в 1918 году он организовал в Москве театр «Четырех масок», а в начале 20-х годов создал

«Мастфор» («Мастерская Фореггера»), где поставил «Близнецов» Плавта, буффонаду «Хорошее отношение к лошадям» В. Масса и «Танцы машин».

Для его творчества были характерны поиски новых путей. Веселые и острые постановки Фореггера отличали зрелищность, гротеск, резкий силуэтный рисунок, пародии, использование приемов кинематографии. Он смело вводил в театр клоунаду, акробатику, шумовой оркестр, пение, танец, памфлет.

В 1921–1922 годах у него начинал С. М. Эйзенштейн. У Фореггера впервые не только как художник-декоратор, но и как режиссер выступил С. И. Юткевич.

Из студии-мастерской Фореггера вышел и Игорь Ильинский, который «наиболее полно осуществил в области актерского мастерства мечты “левых” режиссеров». Об этом его периоде известный театровед П. А. Марков отмечает далее: «Ильинский, выступая в начале своей карьеры у Фореггера, сам участвовал в возрожденных парадах французских шарлатанов и в осовремененных римских комедиях».

Николай Михайлович опирался на эксцентризм. Он считал, что с темпами городской жизни изменилось восприятие зрителя, что он уже не способен выносить длительные представления. Фореггеру наиболее верными казались законы внешнего выражения мюзик-холла и цирка, эстрадные и балаган-ные приемы.

Это было насыщенное поисками время 20-х годов, время революции в русской литературе и искусстве, переоценки ценностей, ломки стереотипов, время нэпа и «левого фронта» в культуре. Экспериментировали Станиславский и Вахтангов, Таиров и Евреинов, Мейерхольд и Фореггер. Это было время повального увлечения новым танцем, когда Айседора Дункан танцевала «Интернационал». Вспоминая об этом периоде, актер и балетмейстер А. А. Румнев писал: «Н. Фореггер, отрицавший и классику, и босоножную пластику, создавал акробатически-урбанистические “танцы машин”».

Именно эти танцы и произвели фурор в Сухуме.

Спектакли Фореггера шли в парке ЦРК Совпрофа Абхазии (ныне парк им. В. И. Ленина). По вечерам собиралась масса зрителей. До поздней ночи обсуждали постановки. «Голос трудовой Абхазии» посвящал пребыванию Фореггера и его труппы в Сухуме целые полосы. Так, в подборке «Рабочие о “танцах машин”» печатник типографии и актер местного рабочего театра «Синяя блуза» М. Д. Хахмигери писал: «Гастроли Фореггера, провозвестники нового театра, были бы слишком банальны, если бы в репертуаре своей новой программы он не имел бы действительно нового номера “Танцев машин”. В этом Н. Фореггер заслуживает внимания со стороны пролетарского элемента, в этом рабочие понимают очень много, язык этих танцев им вполне доступен». И далее: «Очень красивы ритмич-

ные работы частей различных производственных машин, изображаемые движениями человеческих тел... Пожелаем успеха фореггеровцам». Другой типографский рабочий заметил, что группа девушек в танце ясно передала «движения ротационной машины» и что «видевший такую машину в ходу быстро распознает ее в исполнении артистов».

И совершенно прав был А. Чепалов, когда отмечал в статье «“Черный лебедь” Николая Фореггера», что «танцы машин» созвучны эпохе художественного конструктивизма: «Динамические, симметричные композиции, “вылепленные” из мускулистых, гибких тел, отвечали внутренним потребностям пролетарской аудитории – ведь с индустриализацией, с развитием промышленности у советских людей связывались надежды на возрождение страны, на избавление от последствий гражданской войны, разрухи» (Советский балет, 1984, № 3).

«Танцы машин» оказались близки и В. Маяковскому, который «имел непосредственное отношение к литературной части мастерской Фореггера». С. Юткевич вспоминал: «Особенно развлекало Маяковского, как на его глазах происходило рождение “танца машин” – эстрадно-акробатического номера, придуманного Фореггером. Под оглушительный лязг, издаваемый шумовым оркестром, составленным композитором Борисом Бером из комбинации пустых кастрюль, подве-

шенных бутылок всех размеров, трещоток, свистков, медного таза и барабана, режиссер компоновал серию коллективных упражнений, имитирующих движение колес, рычагов, шестеренок, станков...» (Музыкальная жизнь, 1987, № 18).

...Выступления в Сухуме сопровождались цирковыми номерами, пародиями, частушками. На сцену, под оглушительный свист публики, выбегала молоденькая женщина и пела:

Я в своей-то красоте
Оченна уверена,
Если Троцкий не возьмет –
Выйду за Чичерина!

Зал взрывался хохотом.

Иногда выходил и 32-летний Николай Фореггер. Читал «У лукоморья дуб зеленый». Читал в собственной интерпретации, вставляя в сказку Пушкина свои фразы. Зрители были шокированы.

10 июля в газете появилась статья. В ней говорилось: «Фореггер в Сухуме... вызвал большую (живительную) шумиху. Левые, правые. Академики, лефисты. Классики, бунтари докатились и до нас, блаженно паривших на темных крыльях летучих мышей. В этом – в том, что этот талантливый бунтарь бунтарски взрезал спокойную сухумскую целину, – его основная

заслуга. Спасибо Фореггеру! Проснулись. Пошевелились. Встряхнулись». И далее: «Об эротике. Категорически утверждаю: в 100-процентной (внешне) эротике Мастфора – нет эротики ни на одну йоту. Нет похоти, нет цинизма. В “Мастфоре” нет “голых” тел, есть тела здоровые, сильные, бодрые. Им можно завидовать... Танец – не салонное кривлянье. Танец – культура тела». Автор статьи выступал против классического балета и провозглашал: «Пусть умрет, наконец, “Умирающий лебедь”!»

Сухумский последователь Фореггера призывал в июле 1924 года: «Скажите, что это, как не фактор, создающий новый быт – сбросить с себя маргариновый стыд, тысячу мещанских условностей и выйти, свободно выйти на жаркую улицу – только в трусиках, как это уже имеет место в Москве, Харькове, Тифлисе. А кто, как не Фореггер, связан с этим “голым фактом”? Кто другой, как не именно он, первый рискнул – в добрый путь! – крикнуть: раздеваться».

В газете отмечалось, что политика Фореггера в театре – «политика Чичерина в дипломатии». «Бросьте болтовню о фраках и роговых очках! Серьезнее к Фореггеру – он этого заслуживает... Привет мастеру театра – Фореггеру! Привет талантливейшему бунтарю и скандалисту!»

Многих раздражал фрак Фореггера. В конце концов от редакции была дана справка: «Г. В. Чичерин,

кавалер ордена Красного Знамени, ненавидящий буржуазный этикет, тоже... ходит во фраке».

Не все пришли в восторг от спектаклей новатора, хотя всем нравились «танцы машин». Даже противники Фореггера признавали: «Они действительно – новое, пролетарское». Все остальное отвергалось ими и подвергалось натуралистической критике, а то и просто ругани: «Но остальные 90 процентов его “новшеств”? Европа с Америкой, которая как будто бы беспристрастно показывалась Сухуму? Все эти танцы апашей роковые и не роковые, французские и немецкие надрывы и надломы и песенки парижского дня – что это? Даже негритянские песенки, которых находчивый Фореггер связал с... членом Коминтерна и негритянским движением?»

Вот как один из танцев описывал некий сухумский критик: «Женское “начало” было обязательно голым. Его на своих плечах или на спине вытаскивало на сцену мужское “начало”. Начиналась Европа. Обхватывание голого тела. Задирание ног. Сальные, мягко выражаясь, “движения”. Кончалось тоже Европой. Одно начало ложилось почти на другое... И не прикрывайте голые ноги революционной фразой о новом быте, годовщине Советского Союза, либерализме и членах Коминтерна».

Группа Фореггера исполняла «песни большевички», пародии на классический балет, на народную

частушку. А 10 июля впервые была показана с участием Фореггера пародия на оперу «Царская теща», в 2 актах, с хорами, пантомимой и танцами. Она шла в сопровождении «шумового оркестра» Е. Дарского.

Опера начиналась хором крестьянок и крестьян:

Приплывут к нам по реке
Рекой к нам приплывут
По реке к нам приплывут
К нам по, к нам ре, к нам ке,
Гости скоро приплывут
Из заграничных стран.
И в стоячий наш пруд
Приплывут, приплывут.

На следующий день после этого выступления в театре парка ЦРК состоялся диспут о Фореггере. С докладом «Новый театр и красный консерватизм» на ней выступил Николай Михайлович, иллюстрируя отдельные положения показательными номерами танцовщиц. Новатор театра говорил тезисами:

«Современная эпоха старается переоценить и осмыслить все явления жизни и культуры... НЭП остро обнажил вопросы развития театра, обострилась борьба, началось бурное столкновение мнений... НЭП явился оселком, определившим живучесть того или иного театра. Период общего брожения переходит в

период социализма, чеканки уже устоявшихся форм и заполнения их соответствующим содержанием. В театре драмы начинается новая драматургия, заполняющая собой левые формы, правда, не без борьбы. Слово за пасынками театра – кино и танцем. Танец делает только первые шаги. Его задача – разрушить старые устои и накапливать уже существующий опыт. Значение танца в современном быту. Его психофизиологическое значение, его неонизация зрителя на активность. Слово в драме и слово в танце... В эпоху брожения идей, в эпоху чеканки новых форм нельзя устанавливать ограничительные и запретные меры. ...Только объективный анализ историка определит, что было ценным в развитии современного танца и театра».

Слушали Фореггера внимательно. Соглашались и не соглашались. Нестор Лакоба сидел со слуховым аппаратом и, когда не желал что-то слышать из слов Фореггера, спрашивал у рядом сидевших: «Что он сказал?..»

Ныне заслуженный работник культуры Абхазии, 90-летний М. Д. Хахмигери вспоминает об этом вечере: «Режиссер нисколько не конфузился. Никакая критика не смущала Фореггера. Что бы ни говорили ему, он смеялся и очень остроумно отвечал на вопросы».

После диспута, 12 июля, артисты должны были уехать, но опоздали на пароход. В связи с неудачным отъездом, 14 июля «Мастера Фореггера» показали в парке Совпрофа «Карманьолю», механические танцы

и исполнили новые частушки. Ко всеобщей радости горожан, газета сообщила: «Фореггер в первый раз в Сухуме выступает без фрака, так как фрак уехал в багаже в Новороссийск». Этим «событием» завершились гастроли московского театра «Мастфор» в Абхазии.

...В декабре 1980 года мне довелось беседовать с Виктором Борисовичем Шкловским. Он улыбнулся и сказал: «Фореггер – существо фантастическое. Помню, он поехал снимать фильм на Северный полюс, но, когда прибыл туда с аппаратурой и актерами, оказалось, что там... полярная ночь! А что, он бывал в Абхазии?»

3. «Небо Абхазии синее любого синего цвета»

В «Парижской кофейне» в Сухуме в те годы можно было встретить, к примеру, такое вот объявление с греческим акцентом: «Играющий на индерес взимается с выграющего 10 % с рубля».

Черноморский городок развеселил Вадима Шершеневича. В своих воспоминаниях «Великолепный очевидец» (1910–1925) поэт отмечал:

«Сухум изумительный город. Город лени и бесполезности. Сотни мальчишек сидят на тротуаре, чтоб начистить вам до блеска ботинки, которые покрываются пылью, не успеете вы отойти от чистильщика.

Все магазины Сухума делятся на кофейные, где пьют кофе и играют в домино, и на шашлычные, где пьют вино и тоже играют в домино.

Я никогда не мог понять: кто же посетители этих кафе и шашлычных? Наконец, мне разъяснили тайну. Днем все владельцы кабачков сидят в кафе и пьют кофе, а с наступлением прохлады – все владельцы кафе уходят и тратят в кабаках деньги, заработанные с владельцев кабачков за день.

Теперь Сухум изменился. Там есть питомник обезьян, там собирают самшит для ткацких станков, там ловят дельфинов и усиленно сеют табак».

В этом остроумном фрагменте – картинка жизни Сухума.

«Трудовая Абхазия» сообщала 17 октября 1925 года, что «по просьбе бюро рабкоров и селькоров... находящийся в Сухуме поэт тов. В. Шершеневич прочтет лекцию о современных течениях в русской литературе». На следующий день в той же газете появилось стихотворение «Эй, худые, иссохшие скалы...». Это забытое произведение В. Шершеневича более полувека спустя отыскала и опубликовала кандидат филологических наук И. Квициния (см.: Абхазия в русской литературе).

В окончательной редакции поэт напечатал его в сборнике «Итак итог» (М., 1926) под названием «На соленом жаргоне» (15 октября 1925 года):

Эй, худые, иссохшие скалы,
И прибой, что упрям и жесток!
В ночь – в оврагах, как дети, шакалы!
Днем – медузы, из студня цветок!

Там в зените застывшая птица,
Выше воздуха, выше, чем взор!
О Сухум, о Кавказская Ницца,
Прямо в море скатившийся с гор.

Ослепленно белеет по склонам
Через зной снеговая ступень.
Море шепчет соленым жаргоном
Про прибрежную южную лень.

Словно медленный буйвол по небу
Солнце едет, скрипя, на закат.
О, Абхазия горная, требуй
В свою честь от поэтов баллад.

Руки солнца ожогами снимут
По лохмотьям всю кожу с меня,
Опалительный, ласковый климат!
Долго будешь ты снится, маня.

Возле пены лежать без раздумий,
Солнце прямо в охапку ловить...

Как прекрасно в палящем Сухуме,
Здоровея и крепня, любить!

Одиннадцать лет назад поэзия Шершеневича была совершенно иной. Тогда участник «Первого журнала русских футуристов» (1914) писал:

Улицы декольтированные в снежном балете...
Забеременели огнями животы витрин,
А у меня из ушей выползают дети,
И с крыш слетают ноги балерин.

Один из циклов сборника «Автомобиля поступь» (М., 1916) называется «Восклицательные скелеты». В предисловии к этой книге поэт провозглашал:

«...Наша эпоха слишком изменила чувствование человека, чтобы мои стихи могли быть похожи на произведения прошлых лет. В этом я вижу главное достоинство моей лирики: она насквозь современна... Урбанизм со своей динамикой, красотой быстроты, со своим внутренним американизмом – растоптал нашу цельную душу; у нас сотни душ, каждая умеет в нужное время сжаться и распрямиться с наивысшей экспрессией. Мы потеряли способность постигать жизнь недвижимой статуи, но движение холерных бацилл во время эпидемии – нам понятно и восхитительно... Я надеюсь, что через год и эта книга станет для меня чужой».

Первая мировая война наполнила отчаянием многие стихи Шершеневича.

Но, человек, страшись меня ты!
Не спорь с хрипящею войной!
Настанет день – и, как гранату,
Я в Марс метну ваш шар земной!

Поэт обращается к человеку:

Эй! Ты потерял
Кусок своего сердца – вон там, на углу,
Где трамвай сошел с рельс от этого.

«Я прошел три школы, – отмечал Шершеневич в «Эпilogе меня». – Если из символизма, в который вошел ребенком, я успел почерпнуть знание школы прежнего мира, осознание роли культуры и самую культуру, если из футуризма я вынес задор и готовность лить чернильную кровь за свои молодые и крепкие идеи, то в имажинизме я усвоил многие филологические принципы и самую сущность поэзии, той поэзии, которая, по выражению Есенина, должна стать “междупланетной связью”».

Абхазию он посетил имажинистом. Ему было что рассказать о своей богатой литературной биографии. Насыщенной и скандальной, как его поэма «Кремато-

рий» (М., 1918). Газета «Трудовая Абхазия» (1925, 21 октября) сообщала:

«Московский поэт Вадим Шершеневич 22 октября в зале центрального рабочего клуба (здание областного комитета) на лекции-диспуте расскажет о “литературном сегодня”.

Тезисы лекции-диспута:

Сегодня тянется 7 лет. Символизм в футляре. Бум тарарах футуризма. – Пролетарские поэты. – И что из этого вышло? – Почему оскудело? Идеологический багаж в редикуле. – Желудок – сильней головы. – Всем сестрам по серьгам! Блок, Брюсов, Маяковский, Асеев, Герасимов, Лелевичи всех Родов, – имажинизм. – К новой академии через новый канон. – Форма и содержание. – Парнас революции. – Попытка легкого пророчества: о завтра.

Затем тов. Шершеневич прочтет свои стихи, после чего состоятся прения».

Однако вечер, по-видимому, так и не состоялся ни 22, ни 24 октября.

В Сухуме поэт написал еще два стихотворения, вошедшие в его сборник «Итак итог». Одно из них – «Живущих без оглядки» (18 октября 1925 года).

Одни волнуются и празднуют победу
И совершают праздник дележа;

Другие, страхом оплативши беды,
Газеты скалят из-за рубежа.

Мне жаль и тех, кто после долгой жажды
Пьет залпом все величие страны.
Настанет день, и победитель каждый
В стремнину рухнет со страшной крутизны.

Мне жаль и тех, кто в злобном отдалении,
Пропитанные желчью долгих лет,
Мечтают жалкие отрепья пораженья
Сменить на ризы пышные побед.

Видали ль вы, как путник, пылью серый,
Бредя ущельем, узрит с двух сторон
Зрачок предчувствующей кровь пантеры
И мертвечиной пахнувший гиены стон.

Они рычат и прыгают по скалам,
Хотят друг друга от ущелья отогнать,
Чтоб в одиночестве белеющим оскалом
Свою добычу в клочья истерзать.

И путешественник, в спасение не веря,
Внимает с ужасом и жметя под гранит.
Он знает для чего грызутся звери,
И все равно ему, который победит.

Мне жальче путников, живущих без оглядки,
Не победителей, не изгнанных из стран:
Они не выпили и мед победы сладкий,
И горький уксус не целил им ран.

□

В воспоминаниях Шершеневича об Андрее Белом есть такие слова:

«Сверкали вечностью голубые глаза такой бесконечной синевы, какой не бывает даже у неба Гагр, а небо Абхазии синее любого синего цвета... Белый мог говорить о чем угодно и всегда вдохновенно. Он говорил разными шрифтами. В его тонировке масса почерков».

Андрей Белый – представитель второго поколения символистов, крупнейший теоретик художественного мастерства («Символизм», «Луг зеленый», «Арабески», «Гоголь»), автор повести «Серебряный голубь», первого модернистского романа «Петербург» (1913–1914), прекрасных мемуаров «На рубеже двух столетий», «Между двух революций»...

В конце мая 1929 года поэт с женой Клавдией Николаевной Васильевой побывал в Сухуме, Новом Афоне, Гагре... В архивной «летописи» его жизни и творчества есть и такая запись: «1929. Мая 28–31. Переезд Тифлис – Батум – Адлер – Красная Поляна».

Остановившись на месяц на Красной Поляне, он писал:

«...На Кавказе ужасно то, что в 25 километрах уже от искомого вами места начинают циркулировать совершенно превратные представления об этом месте: когда говорят “дорого”, надо понимать “дешево”; когда говорят “там прелестно”, надо понимать “скуднейшее место”... Вы думаете, что попадете в дыру, а попадаете в рай... Проехав за Афон верст 25, начинаются с Гудаут места роскошные, поэтому путеводители говорят пре-кисло о Гудаутах: а там-то и жить. Или: всю жизнь у меня было представление, что Адлер – унылое место... никто об Адлере – ни звука; оказывается: Адлер – чистенькое, милое селение-город, весь в зелени, с прекрасным пляжем и с видом на цепь снежных вершин неопикуемой красоты...»

Мартиросу Сарьяну Белый сообщал позднее, что «июнь провели прекрасно в Красной Поляне».

Судя по «летописи» поэта, он хорошо поработал в этом горном местечке исторической Абхазии. Его волновали мысли о 3-й части романа «Москва», работа по собиранию сюжетного материала, мысли о языке, о фамилиях, о слове... «...Мои броды по горам Кавказа (в горах легче художественно мыслить)», – отметил Белый 2 июня 1929 года. А 15-го: «Приходится придумывать слова, которые живописали бы звуками картины природы».

Поэт нацеливался и «на Гудауты, чтобы отступить туда в случае неудачи» с устройством на Красной Поляне. Однако им с женой повезло. «...С Красной Поляной рисковали (куда еще попадем?), – сообщал он в письме 1 июня, – а в ней устроились на июнь: две больших, чистеньких комнаты у милых, простых греков по 15 рублей в месяц с домашним простым вегетарианским столом для К. Н.... Между прочим: хорошо, что лишь теперь я увидел Адлер; иначе я все же жалел, что потерял здесь участок земли (в семи верстах от Адлера, в горах); по признакам, мне известным из рассказов отца, я установил: земля находилась в райски-прекрасном месте, а я всю жизнь слышал: “Как жаль что Ваш участок около этого Адлера, а не около Соч или Гагр”. А Гагры мне менее понравились, чем Адлер».

Красная Поляна захватила Белого. Он много рисовал. Здесь, по словам Клавдии Николаевны, «уже карандаш был бессилён», и поэт «перешел на акварель». Он мог «надолго засесть над муравьиной кучей», разглядывать «слоистый срез скалы над шоссе в Красной Поляне».

О своих впечатлениях Белый писал М. С. Сарьяну 5 июня 1929 года:

«...До чего Красная Поляна – контраст с Арменией; камни; и – мощи дубов, над которыми сияют снежные зубцы; проработанность историей самой природы; и – девственность ее; мы на границе заповедника, где бродят туры и последние в мире зубры. Контраст во всем, но – прекрасный».

Белый был влюблен в Кавказ, его природу. Он говорил, что это не только «школа для познания, но и школа терпения», что «отдохнуть на Кавказе трудно, имея воображение».

Поэт только что издал книгу своих впечатлений «Ветер с Кавказа» (М., 1928), а Осип Манделштам очень точно сказал о нем: «Он дирижировал кавказскими горами».

Белого интересовало все – люди, горы, животные, растения; Батум, Мцхета, Тифлис, «Голубые Роги» (П. Яшвили, Т. Табидзе, Г. Робакидзе и другие), Боржом, Цихис-Дзири, Гагры, Сухум...

Он мечтал увидеть зубра: «Зубр еще водится – правда, в одной всего местности (где-то в Абхазии: он очень редок)...»

Красная Поляна была для поэта границей звука и зубра.

Он навсегда оставлял это благодатное место: «Июня 28 – июля 1. Переезд Красная Поляна – Адлер – Гагры – Батум – Кутаис. Июля 2. Возвращение в Тифлис. Вечер с поэтами».

В августе 1929 года жена Белого сообщала из Коджор: «Рисовали в Красной Поляне и здесь. Целые дни, до усталости, до “злости”... Душа охвачена молчаньем и “речью без слов”».

Недалеко от Андрея Белого, в Гагре, рядом с Красной Поляной, отдыхал тогда и поэт Всеволод Рожде-

стенский. Своему другу А. Г. Лебеденко он писал (11 июня 1929 года) из санатория им. А. И. Рыкова:

«Вспоминаю Вас в Гаграх, шлю Вам привет от речки Жозквары – если Вы сохранили о ней какую-нибудь память... Мое пребывание здесь измеряется часами лежания на воздухе – теновом и донельзя насыщенном запахом роз и магнолий – с растрепанным томиком Стивенсона в руках.

После захода солнца, в темнеющем парке, когда вдоль и поперек исхоженные Гагры становятся неведомыми и даже таинственными, я брожу у моря, дышу звездами и вспоминаю добрых друзей...

...Охотно я нашел бы Вас где-нибудь на юге. Человек я на подъем легкий, и в районе Черного моря все заливы и бухты одинаково хороши и интересны для меня».

Таким заливом для Всеволода Рождественского стал Крым («Я камешком лежу в ладонях Коктебеля»). Здесь, в Коктебеле, в один из сентябрьских вечеров 1929 года он встретился у Максимилиана Волошина с Андреем Белым, который, «фанатично горя небесно-голубыми, вкось поставленными глазами, метался по комнате и непрерывно, как бурная кавказская река, сыпал искрами и брызгами блистательных афоризмов».

Не так давно вернувшийся из Европы и проживший после Красной Поляны два месяца в Тифлисе и Батуме, он захлебывался от восторга: «Говорил о непотворимой чистоте снеговых линий Кавказского хребта

и о своем новоприобретенном приятеле, неграмотном старике-абхазце, который уже сто четыре года пасет овец на альпийских склонах и в житейской мудрости “превзошел самого Гёте”».



В четвертом номере журнала «Новый мир» за 1933 год появилась рецензия Андрея Белого на роман «Энергия» Федора Гладкова.

Появлению в печати этого отклика предшествовало письмо Федора Васильевича. Он находился тогда по адресу: «Абхазия. Новый Афон. Дом отдыха АбЦИКа». Гладков сообщал (18 января 1933 года) Белому:

«Такое здесь горячее и богатое солнце и такая терпкая зелень, и море и горы, что неудержимо захотелось приветствовать Вас и обнять любовно. Очень здесь хорошо – прямо наш май. Лошадей купают в море. Свежую редиску едим с грядки. Пожить бы Вам здесь – отогреться.

Московский литературными угар – вся эта гадкая кухня с невежественными поварами – очень далека. И на душе свежо и целомудренно. Хочется работать, думать, мечтать, создать что-то большое, как мир. Создать что-то в движении, в солнце – этакое новое, неповторимое. Мечтаю об этом и почему-то думаю прежде всего о Вас. Почему-то! Просто потому, что Вы

оригинальный, тоже неповторимый, вечно обновляющийся человек, поэт и мыслитель. Вот здесь бы походить с Вами, понаслаждаться миром и побеседовать. Очень уж я полюбил Вас с первых же встреч!

...Вспоминаю Вашу речь о своей работе над Гоголем, и я чувствую, что Вы мне близки по своей мятежности и юношескому беспокойству».

За год до смерти Андрей Белый вновь прикоснулся к Абхазии. «Пожить», «отогреться» в ней он не успел.

4. Дневник осеннего путешествия

В 1929 году в газете «Известия» появилась серия очерков Мариэтты Шагинян «Ткварчельский уголь».

Она рассказала всесоюзному читателю не только об этой промышленной проблеме того времени, но и о некоторых самобытных чертах Абхазии, о ее людях, городах, сельской жизни.

Писательница мастерски обрисовала экзотический облик небольшой столицы республики с ее неповторимым ароматом.

«Хорошо жить в Сухуме, – пишет она, – особенно осенью. На перекрестках преют каштаны над душистым теплом жаровен, прикрытые влажными тряпками. Густой табак, словно чайный настой, суховатый, мешается с соленым запахом набережной. Солью и ветром пах-

нет легкая парусина на балконе. А ночью – тихие глаза парашютов, неподвижно опрокинутые в воду, и плеск флейт из беседки, освещенной изнутри, как раковина. Звуки музыки тоже пахнут морем, – к морю подходят простая, грубая флейта, духовые инструменты, усердные музыканты, опрокидывающие после игры свои горластые трубы, чтоб вытряхнуть из них слюну! И грустное ру-ру-ру флейты улетает в соленом ветре, как усилия морского прибой.

Тихо жить в Сухуме, даже рекламы здесь тихи, как утопленники: они вырастают прямо под ногами, на асфальте; их меловые буквы обращены лицом вверх и напоминают плывущего на спине купальщика. Их топчут, и немота их бездейственна, потому что в Сухуме вряд ли гуляющий смотрит себе под ноги.

Вкусно жить в Сухуме, – белые домики благоухают провинцией, и нет лысых домов, а каждый еще густо-волос от винограда, плюща, перьев хамеропсы, глициний, остролистника, над каждым зеленые кроны деревьев; и лежат домики рядком, словно дорогие яблоки, завернутые в отдельные зеленые бумажки.

И только в Сухуме, кажется, хорошо, тихо и вкусно жить безработным, потому что их очень много, они не стоят в очереди на бирже, они подсаживаются в кафе к вашему столику и, если это мингрельцы, непременно заговорят с вами.

В Абхазии безработные – как бы новая профессия, созданная революцией».

Эти впечатления сложились у Мариэтты Шагинян еще осенью 1928 года, когда она впервые приехала сюда. Кстати, тогда же, в «Известиях», вышел ее очерк «Гагры», – где море «вспыхивает голубым пламенем».

Но не на этих газетных публикациях мне хочется остановиться подробнее, а на «дневнике» писательницы, который лег в основу ее очерков.

Приведу лишь отдельные фрагменты записей Мариэтты Шагинян, сделанные в Абхазии в октябре 1928 года.

«4 октября, четверг – Гагры. Жоэква

Гагры – изумительно красивое место, хотя очень дорогое для жизни. Поселилась в гостинице Жоэква (2 р. 50 к. номер). Встреча с Мишей Слонимским, С. Семеновым, М. Кольцовым, Лидиным, Гр. Львовичем... Два раза у подземной реки – в 1 версте от Гагр подземная река, развалины крепости. Река вырывается из скалы и впадает в море, вода чистейшая, радиоактивная, ледяная... Сегодня, 4-го, без конца идет дождь, в комнате моей протекает...

5 октября, пятница. Гагры – Новый Афон – Сухум.

Дождь. Дорога от Гагр удаляется от моря. Лесопильная фабрика. Река Бзыбь с форелями. Гудауты с хорошим желто-розовым вином. Частые аварии

автомобиля. Изумительный Новый Афон среди твердых и четких гор, кипарисы (несколько рядов), я не остановилась, а решила проехать прямо в Сухум, так как шел сильный дождь. В Сухуме – сильнейший ливень, остановка в гостинице Сан-Ремо, номер 35.

6 октября, суббота. Сухум.

Начало моей отрадной поры, связанной с двумя словами «Ткварчельская проблема»... Утром – в ЦИКе Абхазии, где некто Гоги, пресимпатичный юноша, направил меня в ВСНХ к инженеру Ю*. Там большой рыжий инженер, похожий на сибирского кота, сообщил мне, что «проехать нельзя», и с большим презрением ко мне изволил усомниться в том, что мне туда надо ехать. Я это презрение всегда встречаю в начале своей работы и ему не удивляюсь... Я получила от него много печатного материала, по которому вижу, что для юга Союза Ткварчельская проблема – колоссальная проблема. Буду конспектировать проработку на месте и записывать все, что получу от нее, прямо в дневник. (Сейчас, только что уселась за работу, постучали, – Ю. прислал новый материал и записку: «Простите мне саркастический тон беседы с Вами, только сейчас узнал, что Вы – не обыкновенная корреспондентка, а сама Мариэтта Шагинян. Добро пожаловать!» – Мне очень приятно стало на душе, значит, все же я себе создала репутацию сильной газетной работницы.)

* Юшкин Е. М.

7 октября, воскресенье. Сухум.

...Потом вышла – в ботанический сад, а из него прошла в обезьяний питомник, отложив осмотр сада до послеобеда. К обезьяньему питомнику трудно добраться, так как на воротах висит надпись: «Ввиду ремонта осмотр прекращен», – что-то в этом роде. Пьяненький служивый, рассказавший мне, что он устраивал в Алжире восстание (мне было некогда его расспрашивать), проводил меня до входа. Там я познакомилась с худеньким, болезненного вида человеком в черной ермолке, – он оказался замдиректора (Шервинского) Государственного Института Экспериментальной Эндокринологии, Яковом Андреевичем Тоболкиным, по образованию – ветеринаром. В 1925 году Тоболкин предлагает Семашку попробовать завести обезьяний питомник в Сухуме, он разрешил. Неудачная поездка в Африку за обезьянами профессора Иванова, – он заболел тропической малярией. Обезьяны в Марселе заболели тоже (13 шимпанзе) – глистами. Тоболкин с женой в это время были выброшены из автомобиля и совершенно расшиблись: жена на протезах, Тоболкин – ребро, руки, ноги и т. д. Рубакин довез пару оставшихся в живых обезьян, но они околели по приезде. После этого неудачного опыта д-р Тоболкин вывез из Германии 14 штук: 2 ценцифана, 4 резуса, 3 павиана, 5 гамадрил. В течение нескольких месяцев пребыва-

ния в Сухуме – обезьяны прекрасно акклиматизировались и дали приплод...

Итак, 1-я задача, акклиматизация, – выполнена.

2-й задачей по Шервинскому будет опыт с изъятием желез;

3-й задачей – открытие при питомнике венерологического, туберкулезного и раковых опухолей института; в будущем это будет «Научный городок».

Надо отметить идеальное отношение Абхазии. Она дала 10 десятин и 5 домов бесплатно.

Вернулась домой, пообедала, отдохнула и пошла по Сухуму побродить. Прошла налево по набережной, потом сделала каре по улице 4 марта. Удивительно тихий, красивый, симметричный городок, пахнущий крепким запахом кипариса и пихты, да еще жарящимися на каждом углу каштанами. Мостят улицы, следят за благоустройством.

Прошла по ботаническому саду. Он очень небольшой, но красивый...

8 октября, понедельник.

С утра засела за статью «Гагры» и написала (хаотично, не знаю – напечатают ли). Послала спешным в «Известия», послала письма. Была в Совнарком, оставила т. Лакоба письмо, была у Ю., очень интересно поговорили...

Ю. направил меня к Симону Петровичу Басария для того, чтоб я узнала прошлое Абхазии и получила сведе-

ния по фольклору и т. д. – От Ю. в Абно (Абхазское Научное Общество), просмотрела несколько выпусков этого Общества, изумительная любовь к делу, умение привлечь спецов, заставить их добровольно работать, затем несомненный прогресс в самом издании: первый выпуск на плохой бумаге плохим шрифтом и плохими красками, второй уже гораздо лучше. – Переписала оттуда кое-какие данные к себе в блокнот: «Известия Абхазского Научного Общества 1926 года», 2-й выпуск. История ткварчельского каменноугольного месторождения...

9 октября, вторник. Сухум.

...Обследовала правую сторону бухты, – тоже нет пляжа, кончается военным лагерем, за которым идет резкое снижение в болотистую, обширную местность (незастроенную), вероятно район реки Гнилушки. Там и предполагается строить порт. Объявления мелом на асфальте под ногами прохожих. Приход большого парохода вечером, огни, носильщики.

10 октября, среда.

...Поздно вечером 10-го Гайк сообщил, что скончался Иван Иванович*, пережила страшно тяжело, убита, очень трудно в таком состоянии продолжать работу.

* Имеется в виду И. И. Скворцов-Степанов, редактор «Известий».

Я ему многим обязана. Лучшие люди уходят из жизни Он, как никто, любил и ценил меня, я была согретаема и творчески провоцируема этим к себе отношением. Написала сквозь слезы статью.

11 октября, четверг.

Конспектирую материал по портам. (Грузия долго не хотела дать порт Абхазии, Аваков серьезно с этим воевал, доказывая, что порт должен быть в Потти. Между тем это удорожило бы перевозку и вообще было бы менее рационально, нежели порт в Сухуме.) <...>

Из портов лучше Сухумский, хотя Аваков настаивает на Потти. Они доходили, отстаивая Потти, до такого абсурда, что предлагали рыть канал из Гализги в Потти! Лесом обеспечены.

12 октября, пятница.

Написала статью в «Огонек» – «Обезьяний питомник». Отправила спешным. Статьи в «Известия» тоже отправила... Сегодня у меня был местный педагог, абхазец-патриот, Симон Петрович Басария, потом прислал несколько книг по Абхазии, в том числе свою географию.

Мы были на приеме у Лакоба – Колышкин* и я...

* Г. Д. Колышкин – корреспондент «Зари Востока».

13 октября, суббота. Сухум – Очемчиры.

Утром волнения – никак не могла получить на почтамте 300 руб. от «Экономической жизни», так как адресованы Гагинян, а не Шагинян. В 9 ч. 15 м. выехала на Очемчиры. Дорога идет по культурной полосе, море остается далеко справа. Болотисто, разливы рек. Реки по всему этому побережью и особенно реки Абхазии очень хороши, они синего с зеленым оттенком цвета, капризны, сильно набухают от дождей, так как наверху снег и очень много выпадает осадков. Во время паводка меняют русла, идут то направо, то налево и поэтому ложе их обычно очень широко, целая широкая долина из гальки. Реки здесь – живые силы, они показатели ценностей, несут с собой характерные признаки того, что содержат горы... Красивый синий Кодор с обрушившейся частью большого моста. Мы перед ним сошли, через мост перебрались по временному настилу пешком, а с той стороны нас уже ждал автобус. Но еще до Кодора мы сделали остановку в большом селе Дранды, где в маленьком духанчике я напилась злого лимонаду и съела кусок теплой мамалыги – своего рода пирога из пресной кукурузной муки, с виду похожего на бисквит, нарезанный квадратами, как продается он в кофейнях.

За мостом через Кодор – абхазская деревня с неграми, в ней живут 80 негров и отлично себя чувствуют...

По пути – без конца кукуруза, табак, который сушат на деревянных рамах, мочалка (доходная статья торговли), связки красного перца. Домики на сваях (от сырости). Въезжаем в Очемчиры. Он – на ровном, широком, низком месте, залит солнцем, яркое синее море, кажется, что вот-вот смочет. Море очень сильное здесь. В Очемчирах оживление – близость угля, условный рефлекс на начатки промышленной культуры. Деревянный домик по главной улице – гостиница «Ялта»...

По дороге встретили разбившийся автомобиль и в нем Абгаджа (секретаря укома) и Габунию (предисполкома), к последнему у меня было личное письмо от Лакобы, и мы тут же у них взяли записку к заму Габунии, тов. Читая, который впоследствии очень с нами сдружился...

На фаэтоне объехали с тов. Читая Очемчиры: новая электростанция (на дизелях); будет кормить энергией отличное здание бани; приехали посмотреть место, где предполагается устроить порт; место хорошее, естественный залив, но надо произвести работы по прорытию рейда.

Красивые камешки в Очемчирах, много кремневых, очень часто с фиолетовым оттенком... Зашли мы на примитивную водяную мельницу. Жернов перемалывал кукурузу. Худенькие дети держали в руках не менее тощего кролика, испугались, когда я взяла кролика за уши. На обратном пути в город фаэтон наш обогнал

старого красивого абхазца и стройного мальчика. Абхазец нес в руках несколько штук перепелок с оторванными головами, а у мальчика на руке сидел ястреб, на тоненькой цепочке. Мы их подозвали. Абхазец тотчас же сунул тов. Читая перепелок и очень обиделся, когда я ему за них дала рубль. Это была ястребиная охота, очень обычная в этих местах. Ястреба ловят на ослепленную птичку, которую оставляют в траве для приманки. Потом обучают его кидаться на птичек, но их не трогать. Есть очень хорошие ястреба, которые ловят хозяину множество птиц, таких и за сто рублей не купишь. Этот ястреб был удивительно красив, умные желтые глаза взглянули мне в зрачки.

14 октября, воскресенье.

Очемчиры – Ткварчели – лагерь Жернова.

Хозяин «Ялты» (грузин) сперва запросил за комнату 2 рубля, а сегодня уже заявил, что 3 рубля. Оказывается (я узнала потом) – это обычная манера от Очемчир и вплоть до Кутаиса, где у меня было комичнейшее приключение с двумя гостиницами. Наняла фаэтон за 30 рублей, и мы втроем, точнее – вчетвером: Читая, Колышкин, милиционер Иван на козлах (абхазец) и я – двинулись в путь. День этот был чудесен, и все три дня, проведенные нами в Ткварчели, выдались на редкость хорошие, а то здесь почти всегда дожди...

Итак, мы пустились в путь, когда оба лагеря, и геологический лагерь Мокринского, и лагерь промышленной разведки Жернова, очутились без руководителей. Предварительно я закупила много провизии, которая нам очень пригодилась... Чудесная речка Гализга все время вилась по нашему пути. Цвет у нее ярко-голубой с льдистым отливом, приятный мелодический шум. Вокруг – кудрявый лиственный лес, лианы окутывают его и делают непроходимым, хотя и не лишают внешней ласковости и мягкости. Иногда дорога вьется под крутыми каменными навесами, взбираясь на карниз... Впереди, в открытые складки ущелья, все время белеют снежные вершины, делая пейзаж более суровым, и крепче воздух...

В одном месте Читая свернул в густую чащу леса... Подъехав на лошадях к очень крутому месту, перед которым, на противоположном берегу, очень живописно, высоко в скалах, виднеются развалины монастыря, он показал нам большое дерево, его кора местами была надрублена и закопчена, и на ней виднелись капли воска и кусочки обгорелого фитиля.

Это дерево, оказывается, служит для местных абхазцев своего рода иконостасом, куда они наклеивают свечки богу, молясь о здоровье ближних. Спешившись и пройдя ближе, мы прошли по знаменитому Чертову мосту. Скала, высоко над Гализгой, почти соединяется с противоположной скалой, делая крутой спиральный

вырез, в этот вырез можно сверху заглянуть. Над ним и перекинут тоненький мостик, причем внизу он обшит балками из тиса, не гниющего много сотен лет, а сверху настлано простое дерево...

Надвинулись сумерки. Проехали мы около километра красноватыми обрывами, истекающими грязным, красным соком (окись железа), проехали мимо первого столба с обозначением дороги: «Лагерь Геолкома» и вступили на территорию «Минерального источника» – местного курорта, как здесь его иронически называют. На самом деле ирония тут не нужна. Курорт – самый настоящий, и мне он понравился много больше всяких модных курортов...

Там живут больные. Когда я вошла внутрь, две старухи-абхазки, с благородными лицами, низко мне поклонились, и одна сейчас же достала из мешочка и поднесла мне огромное красное яблоко, а другая подарила четки из каштанов. Я им тоже подарила печенье... Мы пошли к источнику. Он внизу, у Гализги, идти минут 5–10 по ужасной дорожке. Она выложена бревнами и похожа на лестницу, тянется на большое расстояние, по дороге скамьи для отдыха.

Здание ванн – над самой рекой. Кладка – древнейшая...

Сойдя с помосток по камням вниз (путь очень рискован, и непонятно, как его проходят ревматики и калеки), уже над самым руслом реки находишь по-

следнюю ванну. Она – самая привлекательная; над ней деревянное перекрытие, а со стороны реки ни стены, ни ограждения. Дно усыпано мелким песком.

Принцип ванн такой: из горлышка вода натекает, из отверстия выходит в реку. Наверху есть втулки, дающие возможность наполнить ванну. Внизу втулки нет. Было на воздухе очень холодно, а от теплой воды шел сернистый пар. Я, долго не раздумывая, разделась и полезла в ванну. Провела в ней минуты три, испытывая необыкновенно приятное чувство отдыха, расширение всех пор и согревание всего тела... Кстати, ванны лечивают ишиас и ревматизм, случаи зафиксированы. Многих привозили сюда на руках, а уезжали они, прыгая по лесенкам, ведущим из ванн наверх, как молодые люди. О таких исцелениях мы слышали много. Никто из моих спутников купаться не пожелал, я же, сбросив всю усталость в воду, натянула на себя свитер, купленный в Сухуме, и тронулась дальше. Дорога от минерального источника в лагерь Жернова – отчаянная. Уже смеркалось. Мы с великим трудом осилили почти вертикальный подъем по глинистой, мокрой, скользкой тропе и опять вступили в тропический лес с его острым запахом гниения, изумительный роскошью и четкостью растительных форм.

Видеть уже пришлось меньше, так как день падал. Впечатление от дороги: она почти все время покрыта деревянными настилами, по которым лошадь ступа-

ет громко и жестко копытом, как по полу... Абхазец с длинными волосами – траур по покойнику, несколько лет не режут волос и не бреются в знак скорби по близкому человеку.

15 октября, понедельник. Лагерь Жернова.

Проснувшись в 6 часов, я вышла и увидела, что мы находимся на большой поляне (на пригорке), над которой течет Гализга; со всех сторон эта поляна окружена поросшими горами, и солнце поднимается над ними поздно, поэтому в ней холодно и сыро. Неподалеку виден водопад и речка Арашиквара, вдоль которой лежат главные запасы угля по площади № 2 и где должна сейчас проводиться длинная промышленная штольня...

Ехали мы сплошным лесом рододендронов, это очень красивое, крупное дерево с чашками длинных листьев... Буки высочайшие, в два, три, пять обхватов... По дороге пришлось проезжать разные трудные места – бревна, арки под склонившимися деревьями (я на обратном пути ударила плечом о такую перекладину и слетела с лошади).

Лагерь Жернова расположен очень высоко в горах, место красивое и более открытое, нежели в зимовнике.

...В лагере мы позавтракали и напились чаю... Рабочие дали мне камешков, интересные образчики окаменелостей.

16 октября, вторник.

Ткварчели – лагерь Жернова – лагерь Мокринского.

...Въехав на поляну, мы натолкнулись на высокие деревянные ворота, – полянка лагеря Мокринского огорожена, как военный лагерь!

Два резких впечатления: у Жернова уборная в виноградных листьях, уют, стремление сделать быт жилым, теплым, красивым, открытым; у Мокринского – военная ограда, отгороженность от мира, строгая дисциплина. Ни одной женщины. Несколько построек, две или три из них плетенные из ивовых сучьев (баракы для абхазских рабочих). Общий умывальник. Полянка для физкультуры... Мы подъехали к домику Мокринского, нас никто не встретил. Когда поднялись по лестнице в первую комнату – контору, увидели, наконец, главного героя Ткварчел, инженера-геолога Мокринского, крепкого, плотного, хорошо сложенного брюнета, резкого типа, с примесью монгольщины, крупноносого, в тубетейке, по манере очень упрямого, знающего себе цену, сухого и страстного человека...

После обеда тотчас едем на Квезани, доезжаем в 6 часов вечера (уже стемнело). Здесь мы сталкиваемся с Жерновым, который берет нас на свой фаэтон. Читая остается с милиционером в Квезани. По дороге – авария фаэтона (упал в канаву). Ночью опять Очемчиры и «Ялта».

17 октября.

Мы едем с Жерновым на машине Автопромторга на Зугдиди. По дороге разлившаяся река Ингур (очень красиво). Мы перешли по стволу, перекинутому на громадной высоте над рекой, под дождем, да я еще была в бурке. К вечеру приехали в низкий, влажный мингрельский городок Зугдиди и остановились в гостинице «Франция». – Перемена в характере построек, деревень (Абхазия и Грузия). Об этом я написала впоследствии в «Экономическую жизнь» две больших статьи...

5. Страж абхазской старины

«В Сухуме, – писала Зинаида Рихтер, – на набережной, в один из первых вечеров, любуясь экзотическими опахалами финиковых пальм, эффектно освещенными электрическими лампочками, лунной тропой в море над затонувшим, некогда пышным греческим городом Диоскурией, я невольно сказала своему спутнику, поэту Виктору Стражеву:

– Счастливый, постоянно живете среди этой красоты.

– А вы могли бы проводить день и ночь, месяцы, годы былых времен в Стрельне? Здесь та же Стрельна.

Летом и зимой вечно видишь одну и ту же зеленую декорацию. Приезжие и курортные видят и знают Абхазию только с одной этой стороны: Абхазию – “Стрельну”, вечнозеленую, феерическую, праздничную Абхазию, которую можно видеть с автомобиля».

Эти годы для Стражева были еще влажны «загорной» тоской по России.

Виктор Иванович переехал в Сухум вместе с женой и шестимесячной дочерью* еще до революции. Впоследствии она писала: «Отец был разносторонне одаренным и широко образованным человеком. В Вязьме и в Сухуме преподавал русский язык и литературу... Поэт, талантливый лектор, а в молодости даже актер. Он свободно говорил по-французски, владел греческим и латынью. Живя некоторое время в Венеции, изучил итальянский и испанский». Виктор Иванович был известен как поэт-символист. В 1904–1911 годах в Москве вышли три его поэтических сборника, философский диалог «О Метерлинке, Синей Птице и Вечном Младенце», а также двухтомник поэзии и прозы.

* Ирина Викторовна Стражева – дочь поэта, доктор технических наук, член президиума Федерации космонавтики СССР; автор книги «Тюльпаны с космодрома» (М., 1978) о своем муже, и коллеге, дважды Герое Социалистического Труда, лауреате Ленинской и Государственной премий, главном конструкторе ракетно-космических систем академике М. К. Янгеле.

Отдельные произведения поэта публиковались в многочисленных журналах и сборниках.

На первый сборник стихов и рассказов Стражева Александр Блок откликнулся в журнале «Вопросы жизни» (1905) разгромной рецензией. А чуть позже, осенью 1906 года, молодые люди, почти ровесники, познакомились на одном из многолюдных вечеров в Петербурге, где Блок читал «Незнакомку» в присутствии И. А. Бунина и А. И. Куприна.

На этом вечере Виктору Ивановичу довелось обменяться с Блоком несколькими фразами. Причем Блок спросил у Стражева, очень ли он огорчил его своей рецензией. «Я смущенно ответил, – вспоминал Виктор Стражев, – что очень надеюсь на то, что следующей своей книжкой я заслужу с его стороны лучший отзыв. И он – позднее – не обманул моей надежды».

О второй книге поэта, вышедшей в 1907 году, Блок отозвался восторженно. В журнале «Золотое руно» (1907, № 6) появилась статья «О лирике», в которой он подробно остановился на разборе произведений К. Бальмонта и С. Городецкого, И. Бунина и С. Соловьева, Ф. Сологуба и...

«Хорошо озаглавил свою вторую книжку Виктор Стражев: “О печали светлой”, – писал Александр Блок. – Это из пушкинского стиха. Маленькая книжка заставляет совсем забыть первые и очень неудачные опыты поэта... Душа новой книги – лирическая душа...

Лучшие строки Стражева о природе: “Светит ясною росинкой глубь зацветшего куста” или “И затопила дебрь лесная меня густою тишиной», или “Заночевали легким станом летуньи-тучи в вышине”, или:

Звоны, певы, гулы, гуды
В тишине полей плывут.

Очень целен и свеж отдел “Шестопсалмие”. И вся книжка свежа и проста, как ее белая одежда, – в ней думно и светло...»

В зиму 1906–1907 годов состоялась вторая и последняя встреча Блока и Стражева в Москве, на квартире писателя Н. Пояркова, где было задумано издание литературного сборника «Корабли» с участием В. Иванова, В. Брюсова, А. Белого, А. Блока, В. Стражева, Ф. Сологуба, М. Кузмина, К. Бальмонта, И. Бунина, Б. Зайцева и других.

Но знакомство с Блоком имело свое продолжение. В июле 1908 года Блок издал сборник «Земля в снегу», посвященный актрисе Н. Н. Волоховой. Первым откликнулся на книгу Стражев.

«Многоуважаемый Виктор Иванович, – говорилось 14 сентября 1908 года в ответном письме. – Спасибо Вам за Ваши милые слова – первый отзыв о “Земле в снегу”, какой я слышал, очень приятен для меня. Пошлю Вам маленькое стихотворение для “Северного

Сияния”, которое очень меня интересует. Жалею только, что без “политики”, знаю, впрочем, что теперь за всякую политику сдапают. И все-таки очень мечтаю о большом журнале с широкой общественной программой, “внутренними обозрениями” и т. д. Уверен, что теперь можно осуществить такой журнал для очень широких слоев населения и с большим успехом... если бы не правительство... Я сейчас в деревне (...с. Шахматово), а к 1 октября примерно вернусь в Петербург... Если успеете, напишите мне два слова сюда. Искренне уважающий Вас Александр Блок*.

Журнал «Северное Сияние» осенью 1908 года задумала издавать В. Н. Бобринская, и Стражев был приглашен заведовать в нем литературным отделом. Программой журнала руководили художник и искусствовед, идеолог группы «Мир искусства» А. Н. Бенуа, известный литературный критик Ю. И. Айхенвальд, художник И. Я. Билибин. Однако «Северное Сияние» успеха не имело и через год перестало существовать. Во втором номере, за декабрь 1908 года, Стражев поместил стихотворение Блока «Воспоминание» о Волоховой, присланное осенью в письме и представляющее, видимо, последнюю редакцию стихотворения «Я помню длительные муки» (написано 4 марта 1908 года).

* Блок А. А. Собр. соч. в 8-ми томах. М. Л. 1962: т. 5, с. 563–564, 157–158; т. 8, с. 253–254.

В одном из писем (8 ноября) Сергей Городецкий писал по поводу выхода «Северного Сияния»:

«Дорогой Виктор Иванович.

Разнообразный, веселый, живой и серьезный первый номер “С. С.” создает новый тип журнала и заполняет существенный пробел в нашей журналистике. Он идет навстречу массам и в то же время выказывает намерение вести их. Некоторый американизм, присущий ему, все-таки хорошего тона, и соседство Беато с Цепелином скорей неожиданно, чем неуместно. Но Скворода и японцы – это великолепно. Поздравляю редакцию...»

До «Северного Сияния» Виктор Иванович редактировал и издавал в Москве (17 сентября – 8 октября 1907 года) газету «Литературно-художественная неделя», которая очень скоро прекратила существование. Такой исход, по-видимому, предчувствовал Иван Бунин, который 23 августа 1907 года писал:

«Многоуважаемый Виктор Иванович, шлю меня и стихов. Желаю успеха, хотя и сомневаюсь в нем... Кланяюсь Вам и Зайцам от себя и от Веры».

А в письме Блоку Андрей Белый сообщал 27 сентября: «Сегодня разорвал все с Зайцевым, Стражевым и прочими из “Недели”... Стражев чернел, как сажа, от злости: стоял, застыв в злобе. Было что-то из ужасных сцен Достоевского».

Это было очень насыщенное время (1907–1908). Стражев становился заметным в литературной жизни России. Так, 23 марта 1907 года он выступал в московском «Литературно-художественном кружке» вместе с И. Буниним, А. Ремизовым, А. Белым, Б. Зайцевым; 3 декабря прочитал лекцию «О Горьком» в московском Обществе народных университетов.

Литераторов бурно принимали 20 января 1908 года студенты. Они слушали произведения Б. Зайцева («Юность Аграфены»), В. Ходасевича (стихи «Цветку Ивановой Ночи») и Стражева. Большой интерес вызвала лекция Виктора Ивановича «Молодая поэзия», прочитанная 6 февраля 1908 года в Московском педагогическом собрании...

Спустя год в Киеве вышла в свет «Антология современной поэзии», в предисловии которой сказано: «Великое обновление искусства, совершившееся накануне XX века, расковало и раскинуло много шире кольцо красоты, обручающее искусство с жизнью». Наряду со стихами В. Соловьева, А. Белого, А. Блока, М. Волошина, И. Бунина, В. Иванова в ней широко представлено творчество и Виктора Стражева.

Дореволюционная деятельность поэта завершается первым томом поэзии, изданным в Москве в 1910 году. «В этой книге, – писал Стражев, – я собрал значительную часть моих стихов из тех, что за период 1904–1909 годов были напечатаны в разных изданиях...»

На многие стихи поэта написаны русские романсы.
Наиболее известен романс:

Они стояли молча. И плакала она.
И тихо плакал ветер у темного окна.

И улица рыдала огнями фонарей.
И плыли мимо пятна неведомых людей.

И грустно-грустно было у темного окна.
Они стояли молча, и плакала она.

Литературная судьба Стражева складывалась довольно удачно. Но в 1910 году совершенно неожиданно разразился громкий скандал. Летом полуполька Ольга Федоровна Путята созналась в Париже русскому публицисту В. Л. Бурцеву (он же разоблачил многих агентов царской охраны – Е. Ф. Азефа, В. Р. Малиновского и других), что уже несколько лет служит в департаменте полиции и якобы В. И. Стражев знает об этом, помогает и пользуется ее деньгами. Бурцев немедленно огласил признание Путяты в прессе («Речь», «Русские ведомости»).

О. Ф. Путята была сначала женой польского писателя-декадента Станислава Пшибышевского, а затем сошлась с Виктором Стражевым. Об этой «грандиозной провокации» подробно рассказал в своих воспоминаниях «Москва» Борис Зайцев.

«Их жизнь, – писал он в 1960 году, – однако, хуже сложилась. С. не был так мягок и удобен для управления. Самолюбивый, и с характером, очень умный, по образованию филолог, бросивший учительство для литературы, он попал в самую горячку начала века. Вокруг делались быстрые и шумные литературные карьеры. Ему выбиться не удавалось. Из скромного учительского быта он попал в кипение богемы, в новую жизнь с Литературным кружком, собраниями, лекциями, пестротой и сутолокою ресторанов, в круг изящных женщин, легких романов, в ту нарядную пену, которой было тогда так много. Для Путяты он оставил семью, детей*. Но с ней жизнь его оказалась тяжелой. Ссоры, ревность, с ее стороны – даже попытки самоубийства.

Однажды весной С., засидевшись у меня вечером, сказал:

– Проводи меня до дому. Мне что-то очень грустно. Оля все грозитя покончить с собой и отомстить мне так, что и в голову не придет.

Его жизнь в это время также приняла несколько болезненный оттенок. Он много играл в карты. Много волновался из-за литературных неудач. Имела она основание и ревновать его.

Летом, в очень дурных отношениях с ней, на случайные деньги (он играл на бегах, скачках), С. уехал в Италию, с нашей легкой руки, входившую в моду».

* Стражев был женат несколько раз.

Потом состоялся третейский суд, и Виктор Стражев полностью доказал свою честность и непричастность к делам Ольги Путяты. Однако эта провокация надолго выбила его из колеи. Он бросил все и уехал подальше от Москвы. «Это был, – вспоминал Борис Зайцев, – одно время, ближайший мне человек. Мы любили друг друга. Многие вместе пережили, вместе начинали литературный путь, даже вместе жили. Станным образом, то самое “дело богемы”, в которое оба мы столько вложили страсти, из которого вышли победителями, – оно-то и развело нас... Я не знаю об С. ни звука».

Стражев тяжело жил эти годы. Скитался по России, учительствовал, изредка читал лекции в Калуге, Вятке, Вязьме... В ноябре 1913 года он выступил с докладом «Над книгой Игоря Северянина» в Калужском Художественном кружке. Поэт поделился личными воспоминаниями о вечере итальянских футуристов в Венеции, рассказал о футуризме в России, о стихах Игоря Северянина и русской лирике последних лет.



Переехав в Абхазию в 1916 году, Виктор Стражев (1879–1950) работает преподавателем русского языка и литературы в сухумском реальном училище, учительской семинарии, женской гимназии. Проводит инте-

ресные вечера, встречи, диспуты, организует спектакли. В самом начале 1917 года в Обществе любителей природы он выступил с лекцией «Жизнь и творчество Джека Лондона», а в марте – с лекцией «Мы и они. Россия и Германия». В театре Алоизи 28 ноября 1918 года состоялся доклад Стражева «Лирика женской души (Анна Ахматова и Мариэтта Шагинян)», организованный «Художественным содружеством».

Неожиданно на Сухум обрушились поэма «Двенадцать» и «Скифы» Блока. В театре Самуриди 9 марта 1919 года Виктор Иванович взял «слово о поэме», а Н. И. Бутковская впервые прочла ее в Сухуме. Афиши сообщали: «Поэма большевизма “12” Александра Блока». Стражев не принял «Скифов»: 16 августа 1919 года он откликнулся из Сухума стихами.

АНТИ-СКИФЫ

Блоку

О, да!

Зови на «братский пир», поэт,
Но перестрой встревоженную лиру!
Нет! Не грози лавиной злобных бед!
Старшому, западному миру!
Нет, пусть иной и светловейный миф
В твоих стихах услышат наши братья.
Пойдут ли к нам, коль им раскроет скиф

Тяжелых лап свои объятья?
Нет! Ложь и ложь! и снова, трижды, ложь!
Нет! Нам не надо скифской маски!
Могильный сон курганов не тревожь
И не мути злосычем сказки.
Докучно, чуждо было нам всегда
Европы жадной скопидомство,
Но страдный путь не ляжет наш туда,
Где злое зреет вероломство.
Наш путь – наш путь. И нам пугать не стать
Чужою, азиатской рожей...
На этот раз – какая боль внимать
Ей, лире милой и пригожей!
Извечно так: идут из мрака в мрак
Земных племен земные тропы...
Свой путь вершит Иванушка-дурак,
Меньшой... Разумникам Европы
Он свой, родной, кровей славянских брат.
Века былые пусть плачевны!
Но под тряпицей на челе блестят
Лучи Судьбы – горит звезда Царевны!
Пророчить сердце будет некий срок,
И задрожит лицо земное,
Противостанут Запад и Восток,
Земли таинственные Двое.
Но в час, когда подымет желтый брат
На брата белого десницу

И в небе черный будет бить набат, –
Мы сбросим ветхую тряпицу...
И если мир в ножны не вложит меч
И этот меч не зацветет Любовью,
Тогда в пучину тех последних сеч
Мы хлынем жертвенною кровью.
И Русь не будет! Будет горний свет
Звезды Царевны в небе синем...

.....

Какая боль тебе внимать, поэт!
Нет, нет! Твой скифский миф – отринем!

Но «Скифы» не поколебали любви Стражева к Блоку-лирику.

«Я жил на Кавказе, – вспоминал он, – в Сухуме. В жаркий августовский день 1921 года шел я по улице и заметил на стене дома свежий квадратик бумаги. Экстренная телеграмма. Подошел и прочел. Телеграмма сказала: умер Блок. Я перечел еще раз: так ли? Да, так. Понурившись, побрел. Встретил знакомого.

– Что с Вами? Вы плачете? – удивленно спросил он. Что ж. Мне и сейчас не стыдно этих слез.

Блок ушел. Но остался одним из духовных спутников, тайной радостью...»

В столице молодой Абхазской республики 4 ноября 1921 года состоялся вечер, посвященный памяти Блока. Газета «Голос трудовой Абхазии» писала тогда:

«Интересными в литературном отношении были два доклада В. И. Стражева и Л. М. Римского... Была дана и литературная иллюстрация в наиболее характерных для поэта произведениях, переданных мастерски: Стражевым в лирической части с присущими этой стороне творчества поэта элегичностью и тихой мечтательностью, и Римским, сумевшим читкой “Двенадцати” и “Скифов”... оттенить всю ширь... темперамента поэта в революционном устремлении его пророческого духа».

Спустя два года, 31 октября, Виктор Иванович выступил в Абхазском научном обществе с лекцией «Судьба Блока»...



Тесные отношения Стражев поддерживал с представителями абхазской интеллигенции – С. Чанба, А. Чочуа, М. Лакербай, Д. Гулиа, С. Басария, С. Ашхацава и другими. На берегах древней Диоскурии начиналась новая жизнь Виктора Ивановича – жизнь археолога*. Он открывает для себя красоты Абхазии, ее гор, ущелий, рек, людей. Сухумские декорации «Стрельны» сменились красочными, живыми картинами. Вскоре состоялось общее собрание членов

* Об этом смотрите подробнее: Лакоба С. Поэт и археолог. – Лит. сб.: Эрцаху. – Сух., 1981, с. 190–217.

АбНО под председательством Г. Барача, на котором 11 ноября 1924 года был заслушан доклад Стражева «О Пицунде в историко-археологическом отношении».

Летом-осенью 1925 года он принимал участие в археологической экспедиции профессора А. С. Башкирова. По поручению Совнаркома Абхазии был составлен акт осмотра древностей Пицунды: храма, древнего водопровода, руин античного города, канала, соединявшего некогда озеро Инкит с морем. По поводу состояния Пицундского Успенского собора археологи писали: «Фрески пострадали от времени, но также и от безобразного отношения неизвестных лиц к художественной древности... кем-то был сделан ружейный выстрел в лицо Христа в куполе... фрески в приделе также пострадали от злоумышленников, которые выкололи глаза у человеческих фигур, местами фрески пострадали от револьверных выстрелов... Мы считаем необходимым усилить внимание к хранению редкостного памятника». На основании этого акта (Башкиров, Стражев, Барач) 1 мая 1926 года был выработан проект постановления СНК ССР Абхазии о государственном Пицундском заповеднике, который развивал декрет ЦИКа об охране памятников искусства, старины и природы. Под защиту государства были взяты сосновые насаждения, а территория, занятая историческими и археологическими памятниками, объявлялась «охранным районом».

Обследовав мыс Пицунда, ученые направились на осмотр памятников села Лыхны – «древней абхазской столицы». «Необходимо спешить, – писали исследователи, – с изучением фресок храма в самом срочном порядке, с калькированием их, снятием с них копий, тщательным фотографированием и изучением техники данной фресковой росписи как особого рода живописи».

По поводу же дворца отмечалось, что он «своими фрагментами представляет исключительный интерес, как остаток древнего гражданского зодчества вообще на Кавказе». В заключении археологов говорилось: «Означенное место как центр древней столицы Абхазии не может не интересовать абхазские научные круги и Абхазское правительство. Пора перейти от скудных сказаний древних писателей и филологических выкладок к действительным памятникам абхазской культуры...» И первым перешел от слов к серьезной научной работе Стражев, поместив в «Известиях» АбНО статью «Руинная Абхазия» (1925) с подробным обзором археологических памятников.

Он являлся посредником между АбНО и Наркомпросом Абхазии, направляя деятельность Комиссии по охране памятников искусства, старины и природы. В 1926 году вышли в свет две его работы «Бронзовая культура в Абхазии» и «К Азантскому дольмену».

Стражев был не только поэтом и переводчиком, но и прозаиком. Его лирические рассказы «Снег», «Бог», «Давно-недавно», «Ая», «Голубой огонь» (1906–1910) обратили на себя внимание известных русских писателей. Прозаические произведения Виктор Иванович писал и в Абхазии. В местной газете он опубликовал серию прекрасных очерков* под общим названием «В поисках старины». Они представляют не только археологический, но и литературно-художественный интерес.

Археолог обследовал крепость и развалины храма у моста через Бзыбь. «Бзыбские древности – чрезвычайно интересны, – писал он. – Трехнефный храм – один из лучших памятников руинной Абхазии. Великолепный материал, высокая техника кладки, резные сохранившиеся камни оконных наличников в алтарной части, весь комплекс окружающих сооружений убеждают, что в этом районе Бзыби имела место богатая историческая жизнь».

Ранним утром он двинулся вверх по реке, в урочище Хасантабаа: «Ущелье Бзыби необычайно красиво. На пути встречался самшитовый старый лес. Приветливой волной шумела Бзыбь. Отшагав верст восемь, на противоположном берегу, на крутой и одинокой горе, отбежавшей от побережного массива, увидел мрачную

* См.: Сов. Абхазия, 1927, 6, 9, 11 августа.

высокостенную крепость, на которой вздымалась, как длинная шея, глухая башня. Веяло романтикой феодализма. Но между мной и крепостью бурлила непроходимая Бзыбь. Где же паром? Как перебраться?

Судьба смилостивилась: из лесу вышло мое счастье – маленький абхазец – мальчик с пустой корзиной. Ему тоже надо было на тот берег. Я объяснил ему свое затруднение со всем мимическим красноречием. Он, видимо, понял, но минут пять молча и серьезно рассматривал мою персону во всех подробностях. Потом вложил пальцы в рот и свистнул. Вот это свист! Так, вероятно, свистел былинный Соловей-разбойник.

На том берегу замаячила фигура, подошла к реке, нырнула в люльку – и черный паук пополз по канату. Уплотнились свыше нормы, некоторые мои оконечности торчали на воздухе. Завертелась ручка, заскрипели колесики, качаясь поползли над бездной. Мальчик-абхазец остался на второй рейс. Поглядел вниз, поглядел вверх – решил никуда не глядеть. В сознании промелькнула вся прожитая жизнь. Захотел сочинять предсмертные стихи, чтобы чем-нибудь заняться на воздушном досуге».

На следующий день поэт добрался до Черной речки, где в отвесе скалы застыл «таинственный неприступный “монастырь”». На ночь он остановился в доме Зосима Бения в селе Отхара, а утром осмотрел дольмены и «неведомую в литературе разрушенную крепостцу...».



В «абхазский период» (1916–1927) с особенной силой раскрылся поэтический талант Стражева. В 1923 году он переводит с абхазского на русский язык поэму Самсона Чанба «Дева гор». В московском архиве литературы и искусства сохранился подстрочник этой поэмы (называлась сначала «Абхазия»), написанный рукой Самсона Яковлевича. На листке из блокнота Председатель ЦИК ССР Абхазии писал: «Виктор Иванович! Пришлите стихи “Абхазец – моряку”. Они нужны. С. Чанба 16/XI – 23 г.».

Тогда же в Сухуме вышел поэтический сборник Стражева «Горсть». Спустя полвека доктор филологических наук Х. С. Бгажба как бы заново открыл эту книжку, опубликовав из сборника несколько стихотворений.

Увлеченность историей Абхазии определила тему многих стихов поэта. Следует отметить прежде всего «Диоскурийские сонеты», начатые в 1923 году в Сухуме и завершенные в 1939-м в Москве.

Стражев набросал в сонетах образ человека-изгнанника, выходца из Милета, вынужденного покинуть свою отчизну и поселиться на время в Диоскурии. Эти чувства выражены в стихах «Письмо на родину. К матери», «Перед разлукой» и в «Отплыть».

Корабль плывет, и берега, чуть млея,
Вот-вот – я жду – истают навсегда.
Над зыбью гор, где стоны Прометея,
Затеплилась вечерняя звезда...

Так сам он отплывал на пароходе из Сухума. Отплывал на свою родину и вспоминал Абхазию. А потом, в России, совершенно неожиданно для него самого выплеснулись «Московские письма», и он «сильно почувствовал себя абхазским “махаджиром”».

Горсть... Сам поэт ее тоже увез из Абхазии в Москву. Он как бы «сопережил» со всем народом страшное горе, оставив свою вторую родину, где, может быть, и прожил свои самые счастливые дни. Но об этом Виктор Стражев узнал позже. Вот что он писал в одном из «Московских писем» (9 октября 1927 года)*.

«Пишу вам, милый сухумец, из бурной гущи Москвы. Простите за то, что первое письмо – очень личное. Но что делать, если с кончика пера сочится воспоминание о тех одиннадцати годах жизни, с которыми навсегда попрощался я с палубы парохода в нежный и теплый синий вечер – вечер разлуки с вами. Посмейтесь над моим “карамзинизмом”... – есть вещи, от которых не освобождается никто, и среди них та, которую мы называем разлукой... Я как-то очень сильно почув-

* «Сов. Абхазия», 1927, 23 октября.

ствовал себя абхазским “махаджиром”, которому уже не доведется бродить по Абхазии, в ее горных дебрях, волноваться загадками ее истории, писать и думать о ней и для нее, подставляя лицо ласке неба и так неслышно старея... Странно! Жил в Абхазии и таил в себе чувство какой-то плененности, вздыхал стихами о севере, о снежных выюгах, о золотых осенних бульварах Москвы...

Но вот теперь, когда “добропутные” ветры пригнали мой “корабль” к подножию Кремлевских стен, встает в памяти Абхазия, “Дева гор”...

В Москву приехал ранним утром. Промчался в такси по сонным и пустым еще улицам... Какая разная смена жизненных темпов! Впрочем, бешеные потоки Бзыби и Кодора, там, где режут они в горных ущельях, крутятся белой пеной, дают представление об уличных потоках главных артерий красной столицы.

Повезло на встречи с сухумцами – на улице, в трамвае, в театре. Всяческие расспросы. Но как много теперь москвичей, знающих Абхазию, бывавших в ней!..

...Летят дни. Прозрачная хрустальная золотеющая осень. Бегаешь по каменным ящикам домов, катишься в звонких коробочках трамваев, крутишься в делах и людях – и чувствуешь, как переключаешься на новый торопливо-деловой лад. Похоже, будто с товарного пересел на экспресс. Ночью спишь камнем. И только

в редкий досужий час, где-то между днем и ночью, остаешься наедине с собой, гул улицы принимаешь за морской и думаешь о вас:

– Сидит, наверное, в кафе на набережной, нежится теплым вечером и никуда не спешит.

Эх, хорошо бы вместе с вами посидеть и, засыпая до двенадцати, послушать, как воют шакалы...

А в заключение этого легкоплавкого письма, вот вам последний грех “музы”, которая так обленилась в Сухуме и теперь в Москве волнуется от запаха типографской краски...

Опять Москва. Дышу Москвою.

И вот – москвею каждый час.

Мое далекое былое

Глядит из мглы оконных глаз.

В арбатской гуще переулков,

Ребячью радость тая,

Брожу – и мнится: рядом, гулко,

Шагает молодость моя.

Отголубел на знойном юге

Поток одиннадцати лет.

И вот принес я снежной выюге

Свой обезбуренный доцвет.

Мне в эту осень возвращенья

С диоскурийских берегов

Дано отведать умиление
Еще не снявшихся мне снов.
Ах, я немного иностранец
И спотыкаюсь о слова.
От новых зорь рассветный глянец
Лег на лице твоём, Москва!
Ты будто та же и не та же.
А сам я – тот или не тот?
Брожу и жду: вот что мне скажет
Изломных улиц изворот?»

Виктор Стражев до конца дней своих не порывал с Абхазией.

В трагическое время он работал над текстом арий для оперы Михаила Лакербай «Махаджиры». Символично, что именно в тридцать седьмом Стражев написал о новой трагедии абхазского народа (новое «махаджирство»), сравнив обрушившиеся на него репрессии с горным землетрясением на Рице.

Было когда-то селенье в горах –
Чудо-поляна в чудесных цветах.
Радостной жизнью цвел Садовод.
Солнечной песенкой пел небосвод.
Годы летели, как белые сны.
Счастьем крылатым сияла Апсны!

Время сломалось – и в грохоте гор
Чудо-поляна исчезла с тех пор.

Родина! Родина! Ты уж не сад!
Умер цветов золотой аромат...

Не долететь ему с темного дна!
Плачет на Рице ночная волна...



В 20-е годы Виктор Стражев любя, с мягким юмором прикоснулся к абхазским песням. Тогда еще время не сломалось и не было грохота гор.

Все в той же повести «Адзызлан» он нарисовал типичную картину пиршества:

«...Где-то по соседству пели. Стонала унывная абхазская песня; обрываясь, сменялась хлопаньем ладош, припевом пляски. Бухнуло несколько выстрелов.

– Пируют абхазушки! – сказал Клим. – Вот стрельцы народ... Как выпил, так и пуляет, так и пуляет... Почему зря... Хмель, что ли, у него пулей выходит?»

Многие абхазские песни тесно связаны с традицией застолья.

Есть у Стражева стихотворение «Толумбаш».

В примечании к сборнику «Горсть» поэт иронически пояснял: «Толумбаш – предводитель пира, хозяин

стола. Его счастливой, но суровой власти пирующие обязаны подчиняться по традиции, беспрекословно; его торжество – последняя, осушаемая им, чаша, после того как все остальные “изнемогли”».

В стихотворении страсти накалены до предела.

Готов я небо, землю, море
Волшбой в свидетели призвать,
Готов я клятву дать в Илори,
Готов и в кузне клятву дать –

«Закон стола» хранил я строго
И не считал заздравных чаш,
И за Апсны я пил из рога...
Но пощади же, толумбаш!

Гляди: вокруг – как поле боя.
А бой был долог и жесток!
И в окнах – утро голубое,
И весь исстрелян потолок.

Ряды пирующих, редея,
Изнемогли уже давно...
Нет! Лей мне лучше яд Медеи,
Чем гудаутское вино!

6. Земляника на ладони

Москва. Декабрь 1980-го.

«А снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен».

«Снег пахнет яблоком...»

Это строчки из Осипа Мандельштама (1891–1938). Я слышал, что он бывал в Абхазии, писал о ней. Хотелось как можно больше узнать о его пребывании в нашем крае. Мне посчастливилось: я говорил с человеком, лучше которого поэта не знал никто. Я беседовал с женой писателя Надеждой Яковлевной.

– В Абхазии мы были трижды, – сказала она. – Впервые весной 1930 года... Ездили в Новый Афон, Гудауты, Ткварчели. Осип Эмильевич написал здесь очерк «Сухум»...

К сожалению, разговор мой с Надеждой Яковлевной оказался одним из последних. Она была уже тяжело больна, жестокий недуг сковывал ее речь, и чувствовалось, с каким трудом она произносит слова. А через несколько дней, 29 декабря, Надежды Мандельштам не стало... Не стало человека редкого таланта и духа.

В 1930 году поэт писал:

«В начале апреля я приехал в Сухум – город траура, табака и душистых растительных масел...

Сухум легко обозрим с так называемой горы Чернявского, с площадки Орджоникидзе. Он весь линей-

ный, плоский и всасывает в себя под траурный марш Шопена большую дуговину моря, раздышавшись своей курортно-колониальной грудью.

Он расположен внизу, как готовальня с вложенным в бархат циркулем, который только что описал бухту, нарисовал надбровные дуги холмов и сомкнулся».

В Сухум Осип Эмильевич с женой приехали накануне путешествия в Армению и прожили здесь шесть недель. Поездку организовал им Н. И. Бухарин, по просьбе которого Нестор Лакоба устроил гостей на даче Совнаркома Абхазии имени Орджоникидзе – в бывшем саду Н. Н. Смецкого. Нестор Аполлонович распорядился, и «ловко скроенный абхазец с ногами танцора», комендант Сабуа, отвел Мандельштамам «солнечную мансарду в “доме Орджоникидзе”, который стоит как гора на горе, вынесен как на подносе срезанной горы; так и плывет в море вместе с подносом».

Мандельштам, по свидетельству жены, считал, что Закавказье тесно связано со Средиземноморьем и мировой культурой, а Армению воспринимал как форпост христианства на Востоке. Многие писатели 20–30-х годов совершали поездки на окраины страны и, как правило, тянулись к мусульманскому миру. Мандельштам, открывший «ассирийскую природу нашей государственности», объяснял такую тягу своих современников растворением личности, созвучием с исламом, в

то время как христианское учение о свободе личности находилось в противоречии с действительностью...

Абхазия пропитала прозу Мандельштама тонким ароматом, яркими красками. Все виделось по-новому.

«Однажды в Абхазии я набрел на целые россыпи северной земляники.

На высоте немногих сот футов над уровнем моря. Невзрослые леса одевали все холмогорье. Крестьяне мотыжили красноватую сладкую землю, подготавливая луночки для ботанической рассады.

То-то я обрадовался коралловым деньгам северного лета. Спелые железистые ягоды висели трезвучьями, пятизвучьями, пели выводками и по нотам».

С вершины их дачи открывалась прекрасная панорама:

«Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема: мне были видны, кроме моря, все кварталы Сухума, с балаганами цирка, казармами...»

Осип Эмильевич неоднократно встречался с Лакоба, колоритный образ которого привлек поэта:

«В приемной Совнаркома я видел жалобщиков-крестьян. Старики-табаководы в черной домотканой шерсти похожи на французских крестьян-виноделов.

У Нестора Лакобы – главы правительства – движения человека, стреляющего из лука... Это он привез медвежонка на автомобиле, получил медвежонка в по-

дарок от крестьянского оратора на митинге в Ткварчелах. Слуховая трубка глухого Лакобы воспринимается как символ власти».

В Сухуме Мандельштама «пронзил древний обряд погребального плача», а в Очемчирах изумил оратор-старик, который «замучил сход: говорил-говорил и кончить не мог».

В Абхазии он «принял океаническую весть о смерти Маяковского...».

В очерке «Сухум», опубликованном в 1933 году, поэт писал:

«Хотя в общественной жизни Абхазии есть много наивной грубости и злоупотреблений, нельзя не плениться административным и хозяйственным изяществом небольшой приморской республики, гордой своими драгоценными почвами, самшитовыми лесами, оливковым совхозом на Новом Афоне и высоким качеством ткварчельского угля.

Сквозь платок кусались розы, визжал ручной медвежонок, с серой древнерусской мордочкой околпаченного Ивана-дурака, и визг его резал стекло. Прямо с моря накатывали свежие автомобили, вспарывая шинами вечнозеленую гору... Из-под пальмовой коры выбивалась седая мочала театральных париков, и в парке, как шестипудовые свечи, каждый день стреляли вверх на вершок цветущие агавы.

...В двадцативерстных прогулках, сопровождаемый молчаливыми латышами, я развивал в себе чувство рельефа местности...

Спустились к немцам – в “дорф”*, в котловину и были густо облаяны овчарками.

.....

Я был в гостях у Берия** – президента Общества любителей кавказской словесности – и чуть не передал ему поклон от Тартарена и оружейника Костекальда.

Чудесная провансальская фигура!

Он жаловался на трудности, сопряженные с изобретением абхазского алфавита, говорил с почтением о петербургском гаэре Евреинове, который увлекался в Абхазии культом козла, и сетовал на недоступность серьезных научных исследований, ввиду отдаленности Тифлиса.

Твердолобый перестук бильярдных шаров так же приятен мужчинам, как женщинам выстукиванье костяных вязальных спиц. Разбойник-кий разорял пирамиду, и четверо эпических молодцов из армии Блюхера, схожие, как братья, дежурные, четкие с бульбой смеха в груди, находили аховую прелесть в игре. И старики партийцы от них не отставали.

С балкона ясно видна в военный бинокль дорожка и трибуна на болотном маневренном лугу цвета бил-

* Рядом с дачей находилось тогда немецкое поселение. – С. Л.

** Имеется в виду Д. И. Гулиа. – С. Л.

лиардного сукна. Раз в год бывают большие скачки на выносливость для всех желающих.

Кавалькада библейских старцев провожала мальчика-победителя.

Родичи, разбросанные по многоверстному эллипсу, ловко подают на шестах мокрые тряпки разгоряченным наездникам.

На дальнем болотном лугу маяк вращал бриллиантом Тэта...

.....

Страшно жить в мире, состоящем из одних восклицаний и междометий!»

Спустя много лет Надежда Яковлевна вспоминала: «Ежова знал не только Бабель, но, кажется, и мы. Тот Ежов, с которым мы жили в тридцатом году в Сухуме на правительственной даче, удивительно похож на Ежова портретов и фотографий 37 года, и особенно разительно это сходство на фото, где Сталин ему, сияющему, протягивает для рукопожатия руку и поздравляет с правительственной наградой. Сухумский Ежов как будто тоже хромал, и мне помнится, как Подвойский, любивший морализировать на тему, что такое истинный большевик, ставил мне, лентяйке и бездельнице, в пример “нашего Ежова”, который отплясывал русскую, несмотря на большую ногу и даже назло ей... Но ежовых много, и мне не верится, что нам довелось

видеть легендарного Наркома на заре его короткой, но ослепительной карьеры.

Нельзя же себе представить, что сидел за столом, ел и пил, перебрасываясь случайными фразами и глядел на человека, продемонстрировавшего волю к убийству нашего столетия, развенчавшего не в теории, а на практике все посылки гуманизма.

Сухумский Ежов был скромным и довольно приятным человеком. Он еще не свыкся с машиной и поэтому не считал ее своей исключительной привилегией, на которую не смеет претендовать обыкновенный человек. Мы иногда просили, чтобы он нас довез до города, и он никогда не отказывал. А там, на правительственной даче, этот вопрос стоял остро. На нашу горку все время взлетали машины абхазского совнаркома.

...По утрам Ежов вставал раньше всех, чтобы нарезать побольше роз для молодой литературоведки, приятельницы Багрицкого, за которой он ухаживал. Вслед за ним выбегал Подвойский и также бросался резать розы для обиженной жены Ежова...

Тоня (жена Ежова. – С. Л.) читала “Капитал” и сама себе тихонько его рассказывала. Она сердилась на бойкую и умненькую жену Коссиора, потому что та ездила кататься верхом с молодым и нагловатым музыкантом, собиравшим абхазский фольклор. “Мы все знаем Коссиора, – говорила Тоня, – он наш товарищ... А кто этот человек? Ведь он может оказаться шпионом!”

Все обсуждали легкомыслие Лакобы, поселившего на такую ответственную дачу чужого человека. Вероятно, присутствие любого беспартийного на этой даче вызывало толки среди “своих”, но Лакоба ни с чем не считался, потому что дача принадлежала абхазскому Совнаркому, то есть ему...

По вечерам приезжал Лакоба поиграть в бильярд и поболтать с отдыхающими в столовой у рояля. Эта дача с избранными гостями была для него единственной отдушиной, где он мог поразвлечься и поговорить по душам. Однажды Лакоба привез нам медвежонка, которого ему подарили горцы. Подвойский взял звереныша в свою комнату, а Ежов отвез его в Москву, в Зоологический сад...»

Мандельштам и Абхазия.

Эта тема родилась еще в 1918 году. Летом в Коктебеле, в гостях у Максимилиана Волошина, жили многие поэты, писатели, художники.

Александр Константинович Шервашидзе (Чачба) сделал тогда гуашью портрет Осипа Эмильевича.

Анна Кашина-Евреина вспоминала, что в 1923 году в петербургской квартире Н. И. Бутковской хранилась эта работа художника:

«Помню, там же был превосходный портрет Мандельштама и нескольких других лиц. Все это второй раз пропало уже в моей квартире после нашего отъезда».

Где он, портрет Мандельштама?..

7. «Абхазская песенка»

Весной 1930 года Мандельштама заинтересовали абхазские песни. В одной из записных книжек поэта сказано: «Абхазские песни удивительно передают верховую езду. Вот копытитя высота; лезет в гору и под гору, изворачивается и прямится бесконечная, как дорога, хоровая нота – камертонное бессловесное длинное а-а-а! И на этом ровном многокопытном звуке, усевшись в нем, как в седле, плывет себе запевала, выводя озорную или печально-воинственную мелодию».

Проводником Мандельштама в мир абхазского фольклора был собиратель народных песен Константин Ковач. Они познакомились в Сухуме.

«Еврей по происхождению и совсем не горец, – писал Осип Эмильевич, – не кавказец, он обстругал себя в талию, очинил, как карандаш, под головореза.

Глаза у него были очаровательно наглые, со злющинкой...

От одного его приближения зазубренные столовые ножи превращались в охотничьи.

Мир для него разделялся надвое: абхазцы и женщины. Все прочее – не стоящее и ерша. Ему приводили коротконогих крестьянских лошадей... Эка важность... Было бы седло. Смотрите: он уже прирос к коню...»

Это было перед поездкой Мандельштама в Армению. На обратном пути, после долгого перерыва, к нему вернулись стихи.

Пройдет еще семь лет, и поэт напишет стихотворение, посвященное Абхазии.

Жена поэта, Надежда Яковлевна, об этом периоде его творчества вспоминала:

«Ссылка на песнь у О. М. редкость. В последний период она встречается, кроме черновиков “Волка” и “Бушлатника”, только в “Абхазской песенке”. “Пою, когда гортань – сыра, душа – суха, и в меру влажен взор, и не хитрит сознание...” Катержный фольклор у О. М. заметен сразу – его подсказала жизнь, и он лежит на поверхности».

Благодаря этим воспоминаниям и становится известна сейчас «Абхазская песенка».

Интересно, что это название не приведено ни в одном из изданий, не отмечено даже в примечаниях. Оно известно лишь по первой строчке – «Пою, когда гортань – сыра, душа – суха...» (Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1973).

А один из литературных критиков отмечал в 1967 году, что «Осипу Мандельштаму явилось свое счастливое видение о грузинской земле и о песне, когда-то им там услышанной, да и им самим спетой...».

Что же произошло? Почему спустя семь лет Мандельштам снова вспомнил об Абхазии? И почему «абхазская песенка» оказалась рядом с сибирскими катержными?

Дело в том, что стихотворение явилось своеобразным откликом на смерть Нестора Лакоба (отравлен

вином в доме Берия в Тбилиси 27-го, похоронен 31 декабря 1936 года), который, кстати, был инициатором сбора абхазских песен, вдохновителем и покровителем Ковача.

Еще в 1930 году между Лакоба и Мандельштамом возникли дружеские отношения. «Это Лакоба пригласил нас на правительственную дачу», – вспоминала Надежда Яковлевна.

После смерти Нестора прошло чуть больше месяца и – 8 февраля 1937 года Осип Эмильевич создал свое стихотворение-воспоминание, стихотворение-посвящение – «Абхазскую песенку».

Пою, когда гортань – сыра, душа – суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?

А грудь стесняется – без языка – тиха:
Уже не я пою – поет мое дыханье –
И в горных ножнах слух, и голова глуха...

Песнь бескорыстная – сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов – смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха –
Одноголосый дар охотничьего быта,

Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыхание вольно и открыто,
Забывая лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха.

И еще один важный штрих.

После работы Нестор Аполлонович часто навещал своих гостей на даче Совнаркома. «Лакоба умел развлечь людей интересным рассказом», – пишет Надежда Яковлевна.

В один из весенних вечеров 1930 года он рассказал о своем предке Урусе Лакоба, который в 1822 году отравил во время обеда ненавистного народу владетельного князя, вернувшегося в Сухум из Петербурга.

«На О. М. рассказ Лакобы произвел большое впечатление, – вспоминала жена Мандельштама, – ему послышался в нем какой-то второй план. Нам говорили, что в 37-м году Лакобы уже не было в живых».

Но была и осталась «Абхазская песенка».

Прислушаемся к ней еще раз. Особенно к первой части. Всмотримся в мелькающий между строк образ Нестора Лакоба:

«Здорово ли вино?»

Нет, вино было больное. Отравленное. Отравленное Берия.

А грудь стесняется – без языка – тиха:
Уже не я пою – поет мое дыханье –
И в горных ножнах слух, и голова глуха...

Видимо, Мандельштаму были хорошо известны истинные обстоятельства гибели глухого Лакобы. И даже то, что смерть его наступила в зажатом со всех сторон горами («в горных ножнах») городе Тбилиси.

В дни похорон все говорили: «Нестор отравлен!»

Поведать об этом поэту мог и Виктор Шкловский, только что вернувшийся из траурного Сухуми.

Предчувствие Мандельштамом «второго плана» оказалось пророческим.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белый Андрей. Армения: Очерк, письма, воспоминания. – Ереван, 1985.

2. Булгаков Михаил. Записки на манжетах. – Альманах: Возрождение, т. 2. М., 1923.

3. Горький М. Собр. соч. – М., 1955, т. 29, с. 465–466.

4. Мандельштам О. Записные книжки. Заметки. – Вопросы литературы, 1968, № 4.

5. Мандельштам О. Путешествие в Армению. – Звезда, 1933, № 5.

6. Мачавариани К. Д. Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу. – Сухум, 1913.

7. Рождественский Вс. Страницы жизни. – М., 1974.

8. [Стражев В. И.] Абхазия. Исторический очерк. Сухум в его прошлом. – В кн.: Сухум: Справочник. – Сухум, 1925, с. 3–14.

9. Стражев В. И. Стихи. – Сухум, 1923.

10. Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание, т. 1: Абхазский язык. – Тифлис, 1887.

11. Шагинян М. Дневники. 1917–1931. – Л., 1932.

1. Аджинджал Б. М. Александр Константинович Шервашидзе-Чачба (1867–1968). – В каталоге выст.: Александр Шервашидзе (Чачба). – М., 1986.

2. Аджинджал Б. М. Страницы большой жизни. – Сухуми, 1985 (на абх. яз.).

3. Анчабадзе З. В. Очерк этнической истории абхазского народа. – Сухуми, 1976.

4. Бгажба Х. С. Этюды и исследования. – Сухуми, 1974.

5. Встречи с прошлым. – М., 1976.
6. Гинц С. М. Василий Каменский. – Пермь, 1974.
7. Григорян К. Андрей Белый в Грузии. – Дружба народов, 1966, № 2.
8. Дзидзария Г. А. «Киараз». – Сухуми, 1981.
9. Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. – Сухуми, 1975.
10. Дзидзария Г. А. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке (до крестьянской реформы 1870 г.). – Сухуми, 1958.
11. Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. – Сухуми, 1979.
12. Инал-Ипа Ш. Д. Абхазы: Историко-этнографические очерки. – Сухуми, 1965.
13. Инал-ипа Ш. Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов. – Сухуми, 1976.
14. Квициния И. Абхазия в русской литературе. – Сухуми, 1982.
15. Климов Г. А. Очерк общей теории эргативности. – М., 1973.
16. Лежава Г. П. Из истории рабочего класса Абхазии (1921–1941 гг.). – Тбилиси, 1978.
17. Меликишвили Г. А. Политическое объединение феодальной Грузии и некоторые вопросы развития феодальных отношений в Грузии. – Тбилиси, 1973 (на груз. и рус. яз.).
18. Пачулиа В. П. Русские писатели в Абхазии. – Сухуми, 1980.
19. Шервашидзе-Чачба Р. А. «Апсны, твой древний клич...». – В лит. сб. «Эрцаху». – Сухуми, 1984.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
I «Древних рас живой осколок...»	7
1. Реликтовый цветок языка.....	7
2. Пять прошедших... ..	19
II «Живем в Генуэзском переулке...».....	55
1. Сухумский ренессанс.....	55
2. «На даче светлой Ю»	96
3. Августа Алексеевна	139
III «Песнь одноглазая, растущая из мха»	165
1. Отражения в маленьком зеркале.....	165
2. «Фореггер – существо фантастическое»	176
3. «Небо Абхазии синее любого синего цвета».....	186
4. Дневник осеннего путешествия	199
5. Страж абхазской старины	215
6. Земляника на ладони	240
7. «Абхазская песенка».....	248
Литература.....	253

Станислав Зосимович Лакоба

«КРЫЛИЛИСЬ ДНИ В СУХУМ-КАЛЕ...»

Историко-культурные очерки

Редактор *Санарда Аргун*
Корректор *Галина Рыженкова*
Художник *Геннадий Лакоба*
Верстка *Кама Бигвава*

Формат 70x100 ¹/₃₂, Гарнитура Minion Pro.

Физ. печ. л. 8. Усл. печ. л. 10.

Заказ №....